

Т Ъ Е Р Р И
К О Э Н

пока ненависть
не разлучила нас



Ненависть разрушает. Объединяет любовь.

Поединок с судьбой

Тьерри Коэн

**Пока ненависть
не разлучила нас**

«ЭКСМО»

2015

УДК 821.133.4-31
ББК 84(4Фра)-44

Коэн Т.

Пока ненависть не разлучила нас / Т. Коэн — «Эксмо»,
2015 — (Поединок с судьбой)

ISBN 978-5-699-92154-6

Рафаэль и Мунир, еврей и мусульманин, росли в семьях марокканских беженцев, и их родители изо всех сил старались стать настоящими французами – ради детей, ради их будущего. Мальчики были не просто друзьями – братьями. Каждый из них готов был всем пожертвовать ради другого. Казалось, они будут вместе всегда. Но судьба распорядилась иначе – трудно оставаться братьями в мире, где все враждует со всеми. Как остановить ненависть? Остаться людьми? Братьями? Возможно ли это в наше жестокое время?

УДК 821.133.4-31
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-699-92154-6

© Коэн Т., 2015
© Эксмо, 2015

Содержание

Пролог	6
Мунир	9
Рафаэль	11
Часть 1	12
1. Твое место во Франции	12
Рафаэль	12
Мунир	13
Рафаэль	15
Мунир	16
Рафаэль	17
Мунир	19
Рафаэль	20
2. Взгляд со стороны	22
Мунир	22
Рафаэль	23
Мунир	25
Рафаэль	28
Мунир	32
3. Быть непохожим	38
Рафаэль	38
Мунир	39
Рафаэль	40
Мунир	44
Рафаэль	45
Мунир	53
Рафаэль	54
Мунир	56
Рафаэль	57
Мунир	58
Рафаэль	60
Сентябрь 1972	60
Мунир	63
Рафаэль	64
4. Разлука	67
Рафаэль	67
Мунир	68
Рафаэль	70
Мунир	73
Рафаэль	75
Мунир	76
Конец ознакомительного фрагмента.	78

Тьерри Козн

Пока ненависть не разлучила нас

Тем, кто покинул нас и оставил в наследство память.

*Моим бабушкам и дедушкам: Жюли и Симону Козн, Аарону и
Якот Козн*

Моему тестю Моисею Хаджаджи

Thierry Cohen

Avant La Haine

© Editions Flammarion, Paris, 2015

© Кожевникова Е., перевод на русский язык, 2017

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э»,
2017

Пролог

Эта книга – моя,
Как Марокко – короля,
Если кто ее возьмет,
Того дьявол унесет!

Мысленно повторяю строчки смешного детского заклинания, не улавливая в них даже смысла. Наслаждаюсь ароматом давнего, забытого. Глубоко-глубоко вдыхаю, грудь наполняется теплом, боль стихает. А когда выдыхаю, горло снова перехватывает. Прошлое... Оно очнулось. Вспоминать всегда и сладко, и больно, вспоминаешь события, понимаешь, как много утекло времени.

Но почему вдруг эти четыре строчки всплыли из глубины моей памяти в этот миг?

Не понимаю.

Во всяком случае, не сразу.

«Французы – трусы! Отдали собственную страну мусульманам, как в войну нацистам! Прогнулись, пресмыкаются! Стоит показать кулак, и они уже скукожились. Пригрози – будут кланяться. Народ-коллорабационист, я всегда это говорил!»

Дан стоял, покачиваясь на носках, и говорил, рубя ладонью воздух. Потом притих и снова уселся рядом со мной. Через секунду снова вскочил и обрушил новую филиппику на французов, считая, что обличать можно только стоя, громким театральным голосом, изображая каждым движением неистовый гнев. Может быть, он хотел привлечь внимание сидящих в сторонке пассажиров, мирно ожидавших объявления о своем рейсе за чтением утренних газет.

Эта книга – моя...

С чего вдруг эти слова, эти воспоминания?

Я уже не слышал обличений своего друга. Повернув голову, взглянул на жену: в бежевом костюме и темно-коричневых, незнакомых мне туфельках, она сидела растерянная, прижав к груди руки, и смотрела недоумевающим взглядом. Она даже не подкрасилась, и бледность выдавала ее возраст. Но как ни странно, никогда еще она не казалась мне красивее, несмотря на покрасневшие, усталые глаза. Я слышал, как сегодня ночью в ванной она плакала. Я не пошел к ней, не стал утешать. Внутри меня пустота, мне неоткуда взять сочувствие. Или вернее, меня заполонили собственные эмоции.

С тех пор, как мы решились на этот шаг, чужие чувства долетают до меня, ударяются о мою оболочку и отлетают, чтобы рассеяться, понятия не имею где. Душа у меня отяжелела и сжалась в комок, оберегая последние крохи моей энергии. Я медленно меняюсь. Помогаю себе рефлексией. Что мной руководит? Инстинкт выживания? Это он заслоняет меня от сомнений, боли, атак внешнего мира? Он отстраняет чувства, которые могут помешать мне рассмотреть будущее и принять правильное решение?

Но какое решение будет правильным?

Все последние дни я не столько жил, сколько прятался от жизни, и вот теперь сижу в аэропорту, собираясь лететь в неизвестность. Мной владеет странное неприятное ощущение, будто я наблюдаю за происходящим со стороны, будто кто-то другой принял решение о моем отъезде, собрал вещи, привез в аэропорт.

Как Марокко – короля...

И вот тут-то я внезапно и вспомнил, как дедушка с бабушкой сидели рядом на пристани. Бабушка плакала. К пристани подплывал пароход.

«Ты сам видишь, Рафаэль, что ты кругом прав. Что нам делать в стране, где позволяют нападать на евреев, где боятся пальцем пошевелить, опасаясь, как бы не растревожить предместья и не «травмировать», как они говорят, мусульман!»

Я столько раз слышал слова Дана, что могу закончить вместо него каждую его фразу. Я ограничиваюсь кивками, а сам поглядываю на сыновей. Они сидят напротив и выглядят на удивление спокойными. Дети часто хранят спокойствие, когда взрослые переживают трагедии, – насыщенный грозой воздух сковывает их, лишает подвижности, наделяет торжественностью, в которой они застывают.

Аарон делает вид, что занят своим смартфоном. Но я знаю: он ловит каждое слово из громких филиппик Дана. Аарон доискивается до смысла тех перемен, что происходят с нами в последнее время, он хочет понять, почему мы оказались здесь, в этом зале ожидания. На лбу у него морщинка тревоги.

«Они проиграли! Сдались, признали свою слабость! Знаешь, когда я это понял? Во время матча между Францией и Алжиром, когда алжирцы освистали «Марсельезу», а французы закрыли на это глаза. У них поджилки затряслись от страха, и они проглотили то, что прощать нельзя. Газеты писали о «вполне понятном проявлении радости». А на самом деле – о чем они написали? О том, что страна распростилась с собственной честью. Там, где люди не сумели защитить гимн, не будут защищать и страну! А уж евреев тем более!» – Рука Дана вновь рассекла воздух, и он издал саркастический смешок. Он не ждал моего мнения, он искал в своей полной обиде памяти еще подтверждений, еще фактов.

Помню, меня тогда тоже больно задело попустительство властей. Я даже удивился своему яростному возмущению. Но я же чувствовал тогда себя французом. Любил свою страну. Любил свой гимн.

Если кто ее возьмет...

Дедушка с бабушкой послали мне знак. Улыбались мне, хоть и невесело. Теперь я понял, что они хотят мне сказать. Вот они встали со скамейки и затерялись в толпе, поднимающейся по сходням. Как бы мне хотелось их догнать и обнять крепко-крепко. Да, сегодня я очень нуждался в чувстве уверенности.

Я знал, что Дан вовсе не испытывает той ненависти, которую так картинно выплескивает. Он исполняет ритуал, прогоняет страх, давая каждой опасности имя. Так поступают все, кто смотрит в будущее и видит там грозные тени, те же самые, что преследуют их и в ночных кошмарах.

Дан старается успокоить меня, убедить, что я сделал правильный выбор. И кто станет спорить? Все, что он говорит, оправдывает необходимость сидеть всей семьей в зале ожидания, ощупывая билеты во внутреннем кармане пиджака, оправдывает покрасневшие глаза Гислен, шрам на лбу Аарона. В конце концов, его слова пробились к моему сердцу, и оно сжалось, стеснилось. Разум подчинился велению обстоятельств, но сердце... Оно застыло неприступным бастионом с надписью «Франция».

«Франция», слово-чемодан, с ним мне и придется скитаться по свету, бережно спрятав туда воспоминания, надежды, иллюзии. В слове «Франция» – вся моя история. Мне понадобится немало времени – годы, я думаю, – прежде чем я открою этот чемодан там, где ждет

меня новая жизнь. И что это будет за жизнь – без привычных слов, без имен и лиц, с которыми я сейчас расстаюсь? Без моих друзей детства? Без девушек, с которыми был знаком когда-то? Без моей бедности? А потом годов успеха? Моей женитьбы? Рождения детей? Без любимых долин, деревьев и рек, которые с жадностью влюбленного я мысленно сфотографировал?

Моя боль сродни струйке лавы. В один прекрасный день она пробьется наружу, возможно, уже остуженная подземными водами. Возможно, уже застывшая навек.

Но сейчас я не позволяю себе грустить. Я смиренно пригнул голову, стремясь пробиться вперед.

Хочу видеть один только шаг, на который продвинулся. Хочу, чтобы у моих детей было более надежное будущее.

Я ищу слова, которые помогли бы мне определиться.

Я еврей и сижу в аэропорту.

Я отец ребенка, ставшего жертвой антисемитской агрессии, которая навсегда оставит свой след у него на лице и в душе.

Я наследник вечно изгоняемых предков.

Я мужчина, но у меня так больно перехватило горло, что мне придется пойти в самолете в туалет и поплакать.

Объявляют посадку на рейс в Тель-Авив. Мы поднимаемся. Дан нас целует.

«Вот увидишь, там все будет хорошо. Это же наша страна. Скоро и я приеду».

Я стою и улыбаюсь своему другу. Главного он не знает: с моей страной я прощаюсь сейчас навсегда.

Того дьявол унесет...

Дедушка с бабушкой растворились в толпе. Я остался один. Теперь мой черед. Уезжаю.

Мунир

Весь вечер я следил за противоположной стороной улицы. Стоял за занавеской и надеялся, что ничего особенного не увижу. Что отъезд всего только слух, не больше. Что тоскливая тяжесть, давящая сердце, рассосется. Неприятное, надо сказать, чувство. Порой мне до жути хотелось сказать времени «стоп» и разобраться в его подспудных течениях, которые не дают мне покоя. И вообще все остановить! Понять, почему все так получилось. Почему я прячусь за занавеской и слежу за домом Рафаэля? Почему мне хочется взвыть и комок подступает к горлу? Почему араб готов разреветься из-за отъезда еврея-сиониста?¹ Не реви, Мунир! Из-за чего реветь? Из-за того, что он был твоим другом? Глупости! Время показало, что ты ошибся. Давай, Мунир, перетряхни сундучок с воспоминаниями молодости. Выкини школу, стычки, первых девушек, первые демонстрации... Вспомни, что вас разделило, и торжествуй победу!

Часов около семи глухой шум привлек мое внимание. Я осторожно раздвинул шторы и увидел их всех. Ребятишки садились в такси, а тот, кто был моим другом, стоял неподвижно, пока шофер носил тяжелые чемоданы и укладывал их в багажник. Мне показалось, что Рафаэль почувствовал, что я рядом, он посмотрел в мою сторону, а я отступил от окна, спрятался в сумраке комнаты. Впрочем, нет, он уже заторопился и тоже сел в такси. Вот показалась его жена, худенькая, едва идет. Вышла из подъезда и обернулась на дом, подняла голову к окнам, где они жили. Она была сейчас одна-одинешенька на этой улице. Наедине со своей болью. Она зажала рот рукой, чтобы не разрыдаться. И я тоже. Я тоже зажал рот рукой, чтобы не разрыдаться и не разбудить жену.

Нет, в истории нашей дружбы ничего не говорилось о бегстве.

«Скатертью дорога!» – гаркнул один идиот в кафе, подняв рюмку, когда распространился слух об отъезде Рафаэля. Другие у стойки с воодушевлением подхватили: «Одним меньше!» Вот так отнеслись к его отъезду. Поспешный отъезд Рафаэля показался обитателям квартала слишком крутой мерой по сравнению с нападением на мальчишку. Толковали о неоправданности такого решения. Подумаешь, ударили, обидели, оскорбили! Смеялись над трусостью Рафаэля. Уехать значило сбежать. Вот тут-то я и стукнул кулаком по столу: «А ну, замолчите!» На меня посмотрели с опаской и вопросительно. В расслабляющей жаре летнего вечера не стучат кулаками.

«О какой трусости вы говорите? Уж вам-то лучше всех известно, какого мужества требует отъезд! Вы что, забыли, как плакали наши матери в день, когда мы уезжали? Как сурово стискивали зубы отцы? А как были растеряны мы сами среди плача и жалоб родни? Вспомните, как нам было страшно, когда за спиной остался берег Марокко, Алжира или Туниса и мы видели перед собой одно необозримое море. И все-таки мы уезжали, и, возможно, даже без таких драматических причин. Уезжать, потому что чувствуешь угрозу, потому что посягнули на твою плоть и кровь, совсем не трусость. Трусы мы! Если бы мы боролись с тем дерьмом, которым набивают головы наших мальчишек «просветленные», мы бы не оказались там, где сейчас! Вы все понимаете, о чем я говорю! Если бы я мог остановить время и найти настоящие слова. Если бы каждый из нас не впустил в себя ненависть, которая развела нас так далеко!»

Я поднял стул и ударил им об пол – жест бессмысленный, театральный. И ушел.

¹ Сионизм – политическое движение, цель которого – возрождение еврейского народа на его исторической родине, в Израиле. *прим. перев.*

Мы с Рафаэлем называли наши отношения «дружбой», и до поры до времени ничего этому не противоречило. Похоже, мы с ним не ошибались. Похоже, так оно и было: мы дружили. Но приблизительность всегда коварна. Она ненадежна и неустойчива, она искажает реальность.

И что теперь делать? Попытаться догнать Рафаэля? Поговорить с ним? Вернуть?

Слишком поздно. Он наверняка уже сидит в самолете.

А что я хотел бы сказать ему? Что тоскую о тех временах, когда мы были мальчишками и когда подружились – два маленьких чужака во Франции? Временах, когда мы еще не стали иудеем и мусульманином? Что мы могли бы опять стать близки, вспомнив дружбу, с которой выросли?

Почему мне хочется сказать это? Почему хочется снова дружить с Рафаэлем? Да, Мунир, перестань стесняться и признай, что ты никогда не терял надежды вернуть вашу дружбу. Ты никогда не испытывал ненависти к Рафаэлю, ты ненавидел трещину в ваших отношениях, которая вас развела. Ты обижался, что он не направил всю силу дружбы на желание понять тебя. Ты не уставал надеяться, что он придет к тебе, сядет рядом и скажет: «Давай, брат, разберемся. Объясни мне спокойно, что происходит. Говори со мной, как с другом. Я не могу согласиться с тем, что вижу, но хорошо тебя знаю и уверен, ты не хочешь плохого».

А сам я когда-нибудь попытался с ним так поговорить? Нет. Такое желание вспыхивало во мне после приступа гнева, но я ни разу не последовал ему. А что, если сейчас пришло время для такого разговора? Да, именно сегодня, сейчас, когда друг уехал и мне осталась болезненная неразбериха. Вот теперь и стоит взглянуть в прошлое, перебрать день за днем, снова пережить каждый. Надо вспомнить пережитое, случаи и события, которые сделали нас такими, какие мы есть. Давай взвесим наши чувства, сложим, подытожим, уравновесим коэффициентом рассудка. Давай совершим путешествие в прошлое и попытаемся понять, когда случилась эта беда. Что сделало нас другими, не такими, какими мы были в детстве и какими надеялись стать?

Попытаемся понять, когда и как зародилась ненависть.

Рафаэль

С билетами в руках мы медленно приближались к стюардессе. Шаг, и еще, и еще. Мы шли гуськом. Продвигались еле-еле. Где-то глубоко внутри нас гнезвился страх. И моя судьба предстала передо мной в образе печального клоуна. Он растянул губы в улыбке, протянул мне руки. В правой руке у него колода карт, в левой – мое удостоверение личности. Вот он вложил карточку в колоду, ловко перетасовал и показал мне. Фокус-покус, нет никакого удостоверения. Клоун-маг пожал плечами и сделал огорченную гримасу: проиграл! Ничего не поделаешь!

Я что, брежу? Нет, превращаю чувства в картинки, растравливаю боль. Мне нужно страдание, я хочу всерьез почувствовать, чем плачу за свой отъезд, хочу заплатить наличными.

Сколько было споров, ожесточенных дискуссий, идей, обязательств, надежд... И все впустую? Да, все впустую. Часть моей жизни лишилась смысла. Знакомство с Францией, студенческие выступления, борьба против крайне правых, победа Миттерана, борьба с расизмом. Выбросить все. Уехать налегке.

Выделить, переместить в корзину. Освободить корзину.

Папка Мунир Басри: выделить, переместить в корзину, потом очистить ее.

Допущена ошибка: папка не может быть уничтожена, она продолжает использоваться.

Неужели продолжает?

Да, этот человек связан со мной неразрывно, с моими радостями, с моими бедами. Но если я не могу его забыть, значит, не могу забыть ничего.

Продолжает использоваться?

Да, это так. В последние дни мне то и дело представлялось лицо Мунира. Как бы я хотел поговорить с ним! С худшим из друзей, с лучшим из врагов.

Что он думает о случившемся? Меня интересует мнение не ангажированного француза-мусульманина, а мнение друга, каким он был для меня. Нужно ли нам уезжать? Только он мог меня успокоить.

Как же мне хотелось позвонить ему в дверь, попросить прощения за нашу ссору. Или просто с ним попрощаться. Но теперь нас отделяет так много от тех, какими мы когда-то были.

И через несколько часов разделят еще и тысячи километров.

Часть 1 Детство

1. Твое место во Франции

Рафаэль

История начиналась так...

Люди часто путают воспоминание и фотокарточку из альбома, собственные истории с историями семейных рассказчиков. Кому на самом деле принадлежат воспоминания о первом шаге, первом зубе, первом ушибе? Кое-кто оставляет за собой способность помнить себя с ранних лет. Но я совсем не уверен, что помнятся именно шаги и зубы.

Я постараюсь держаться фактов: событий, которые меня сформировали, послужили опорными точками на жизненном пути. Постараюсь быть точным и объективным. Сегодняшний взрослый передаст слово ребенку и подростку. Возможно, он подменит слова, но не исказит истины.

И как начало я выбираю бесконечно важный для меня день, день моего поступления в школу. Тот самый день, когда я под диктовку бабушки писал на учебниках магическое заклинание, отпугивающее воров:

Эта книга – моя,
Как Марокко – короля,
Если кто ее возьмет,
Того дьявол унесет.

Потому что я так ясно это помню.

Потому вспомнил об этом в день отъезда.

Потому что это хорошее начало моей истории.

Мне шесть лет. Высунув язык, я тружусь над буквами, выводя их прямо под названием, прижимая растопыренной рукой титульный лист. Дед сидит со мной рядом. Он с нарочитой серьезностью следит, как я вывожу буквы, сражаясь с моей детской небрежностью. Ему хочется придать «обряду» торжественность, которая откроет мне всю важность этого момента – момента передачи ценностей. Он склонился над моим плечом, диктует, медленно повторяет слова. Я вдыхаю запахи одеколона и его стариковской кожи.

Но сначала он написал на листке бумаги все четыре строчки, чтобы я мог их скопировать. Мама научила меня списывать из букваря буквы, надеясь, что это умение даст мне преимущество перед моими будущими школьными товарищами.

– То-го дья-вол у-не-сет, – ласково повторяет дед.

И я чувствую, но не умом, несоответствие тона и смысла. Дьявол далек от ласки, от яркого солнечного дня, его место в ночных кошмарах. Дьявол, да? Я прекращаю писать и набираю побольше воздуха.

– Пиши, малыш.

И вот я написал последнюю букву, и бабушка улыбнулся. Я счастлив. Он так редко улыбается.

Мама входит к нам в комнату.

Дед, ее отец, встает – ему неприятно вторжение, мешающее нашей уединенной близости, он бы хотел, чтобы мы сидели так вечно. Но потом он смиряется: счастье – залетная птица, оно из страны мечты. На короткий миг он понадеялся совместить оба мира: реальность, из которой выбыл, и мир теней, в котором жил теперь.

Мама говорит, что ищет брошку. Говорит не для того, чтобы объяснить, почему к нам вошла, а надеясь, что брошка отзовется. Мама всегда что-то ищет, спеша мелкими торопливыми шажками по комнатам и тихо что-то приговаривая. Она очень миниатюрная, очень красивая, у нее блестящие вьющиеся волосы, и они летят за ней, желая ее догнать. Она замечает мою довольную рожицу. Я ничуть не сомневаюсь, что она тоже будет счастлива моим подвигом. Ее глаза опускаются на открытую передо мной книгу. Дедушка застыл в неподвижности. Он снова в своих далеких мирах, и его не будет со мной, когда разразится скандал.

– Что это ты делаешь? – спрашивает мама, и по ее голосу мне уже понятно, что она успела догадаться, что я делаю.

Она подходит, берет учебник, и в глазах у нее вспыхивает ужас и отчаяние.

– Так вот оно что! Ты портишь свои книги?! – кричит она так, словно я зарезал собственного брата.

Дедушка отдаляется от действительности еще на несколько сантиметров.

Мама поворачивается к нему. Она знает, что виноват он, и, кипя гневом, открывает рот, забывая о дочернем почтении, но благородная осанка отца принуждает ее к некоторой сдержанности.

– Как ты мог? Ты понимаешь, что ты наделал? Это же его учебники! Что подумает его учительница? Ты хочешь, чтобы с первого дня он оказался у всех на виду, чтобы его считали маленьким марокканцем? Но мы уже не в Марокко, папа! Ты больше не работаешь в порту в Касабланке! Уже три года, как мы оттуда уехали. Их король не наш король!

Дедушка смущенно смотрит на дочь. Он ненавидит ссоры. Он поворачивается к маме спиной, делает несколько шагов и медленно усаживается в свое красное плюшевое кресло напротив окна.

Мама, не выпуская из рук книгу, продолжает упрёки и жалобы, но дедушка ее не слышит. Он не понимает той жизни, которую она описывает и к которой стремится. Он понятия о ней не имеет. Он видит перед собой волнующуюся синеву, видит, как к пирсу подплывает торговое судно. Сейчас начнется разгрузка, крики, тяжести, пот. Одним словом, жизнь. Лицо дедушки смягчается.

Мунир

Начало нашей жизни во Франции навсегда связалось у меня с черными злобными глазами, светлыми волосами цвета паленой соломы, белой кожей с красными прожилками и ртом, искаженным ненавистью.

У каждого из нас затаилась в глубине души память о каком-то злобном существе. Злодее. Бандите, который преследовал нас в детских ночных кошмарах. О чудище, прячущемся в темноте и готовом нас растерзать. Кто, как не оно, шевелило на окне занавески, это его тень медленно ползла на стене. Случайный встречный, испугавший нас, а может быть, герой фильма становились живым воплощением нашего ужаса.

Мой ужас хранится в архиве памяти под этикеткой «Первое французское лицо». Стоит мне услышать недоброе слово, мозг дает опасливый клик, и оно выскакивает, как выскаки-

вает гифка. Это лицо наклоняется надо мной, кривит рот и повторяет одни и те же слова: «Грязный араб!»

* * *

Мы только что сошли с парохода в Марселе. Папа судорожно подтаскивает к нам чемоданы. Нас с братом крепко держат за рубашки, чтобы не потерялись в толпе.

Дорога была долгой и трудной. Честно сказать, я даже не знаю, сколько мы плыли. Время на пароходе кажется тягучим и жарким, и даже морским брызгам его не освежить. Лица вокруг сумрачные, тревожные. Встречаясь глазами, люди ищут поддержки и тепла. Правильно ли мы сделали, что уехали? Как нас примут во Франции? Будет ли у нас кров? Будет ли хлеб? Мама время от времени смахивала слезу оранжевой от хны ладонью. Муж не должен видеть ее печали. Она не имеет права класть на его сердце камень своего горя. И муж делал вид, что ничего не видит, он глаз не отрывал от синей глади, которую с победительной яростью вспарывал пароход.

Мне кажется, что мы даже не разговаривали. Какие слова могли передать зыбь страха и надежды, на которой мы качались.

Когда появился берег Франции, губы тронула улыбка.

– Папа, это Франция, да?

Я постарался засиять от радости. Выразить восхищение. Отец кивнул и потрепал меня по голове. Он тоже улыбнулся.

Отец, весь в поту, судорожно оглядывает пристань в поисках хоть какого-то указателя. И мы по его примеру смотрим во все стороны, широко открыв глаза.

Франция!

К нам подходит носильщик, недовольно смотрит на нас маленькими черными глазками. У него светлые грязные волосы, лицо в красных прожилках, а губы сложены для плевок.

– Эй, ты! Нужна помощь?

Сразу чувствуется, что помогать ему вовсе не хочется. И поэтому он сразу обращается к отцу на «ты».

Отец улыбается ему и поднимает руку.

– Нет спасибо, вы очень любезны.

Наш папа, он что, не понял, что перед ним носильщик? Он вовсе не любезен, он предлагает услугу за плату!

– Ну и как ты поволочешь свои чемоданы?! – продолжает все так же враждебно носильщик.

Отец пожимает плечами и отвечает по-прежнему с улыбкой:

– Ничего, как-нибудь справимся. Спасибо вам большое.

Думаю, что с этого дня я возненавидел приправленную сиропом униженность отца. Большинство эмигрантов его поколения считали своим долгом именно так разговаривать с французами: опустив голову и плечи, согнув спину, чуть ли не делая реверанс.

– Черт бы вас побрал! И зачем мы связались с такими нищелюдами! Грязный араб!

И в следующую секунду носильщик избавился от плевок, который приготовил давным-давно.

Брови у отца сдвинулись, он уставился на хамское мокрое пятно у своих ног, а губы его еще хранили застенчивую улыбку. Потом он выпрямился, взял чемоданы и повернулся к жене.

– Nada mahboul... Zid, zid... Пошли!

Мы должны были сесть на поезд, чтобы ехать в Лион, где нас ждал дядя Али, он помогал нам во всех перипетиях переезда.

Отец поспешно внес наши вещи в вагон, искоса наблюдая за носильщиками, толкавшими тележки. Он пристроил чемоданы в коридоре и показал маме рукой, чтобы она села на самый большой.

– Папа! В кабинках есть места!

Я был счастлив своим открытием, улыбнулся отцу и показал на пустое купе.

Мама взглянула на мужа – решения принимал он.

Отец не обратил на мой палец никакого внимания, он еще раз проверил, все ли чемоданы на месте.

Но я продолжал настаивать:

– Папа! Да посмотри же! Там свободно!

Отец посмотрел на меня, приложил палец к губам, прося замолчать, а потом показал рукой на чемоданы, мол, нам и здесь хорошо.

– Но ведь...

Продолжать мне не пришлось.

– Ewa safe! Scout! – воскликнула мама.

Папа вовсе не стремился оказаться на виду. Но мы остались в коридоре и загромождили проход. Когда очередной пассажир протискивался мимо нас, отец смотрел на него с застенчивой улыбкой, бормотал слова извинения, поднимал нас, склонял голову, а люди недоумевали или сердились, что мы расположились здесь, когда есть свободные места.

Появился контролер.

– Нельзя сидеть в коридоре! Есть же места! Занимайте! Занимайте!

Отец поблагодарил служащего в униформе и лихорадочно принялся переносить чемоданы. Потом уселся на скамейке. Доброжелательность контролера искупила в его глазах все наши неудобства, униженную вежливость.

Он устроил маму, посадил Тарика к себе на колени. А я уселся у окна, радуясь, что могу полюбоваться незнакомой страной. Отец окликнул меня и, мотнув головой, приказал отправиться обратно в коридор. Что я о себе возомнил? Как посмел злоупотреблять оказанным гостеприимством? Неужели посмел хоть на секунду вообразить, что доброта контролера распространяется и на ребятню?

Рафаэль

Вот уже больше двух часов мы странствуем по магазинам на улице Републик.

Мама выбирает одежду, в которой я пойду в школу. Она вся на нервах, взвинчена до ужаса – что ни говори, дело-то крайне ответственное. Через несколько дней начнется моя – и отчасти ее тоже – новая жизнь. Мы не должны упустить ни одного шанса, выходя на сцену, где нас ждет успех. В моих способностях мама не сомневается ни секунды. Я же самый красивый, самый умный, самый... и дальше торопятся слова, которые шепчет мне только мама. Любовные слова, об этом мне говорят ее взгляд и улыбка. И если бы я доверился только звучанию, то подумал бы, что она творит магическое заклинание: «Memsî kpara mdoura yana rlek». Как ни старается мама стать француженкой, арабский, вернее, еврейско-арабский остается для нее языком, на котором она выражает свою любовь. И свое недовольство тоже.

Сейчас ей скорее хочется закатить мне пощечину. Мое нытье и полное равнодушие к ее стараниям бесят ее до крайности.

– Я не шучу, Рафаэль, если ты еще раз мне скажешь, что устал, проголодался или не знаю, что еще, мы тут же отправляемся домой, и завтра ты идешь в школу хуже нищего!

«Даже в туалет нельзя?» – хочу я ее спросить. Но не спрашиваю, чтобы не почувствовать у себя на щеке ее маленькую ручку. Мама переходит от ласковых слов к пощечинам с такой быстротой, что я не успеваю увернуться. И с той же скоростью она переходит от поучений к натянутой улыбке, переступая порог очередного магазина.

– Здравствуйте, мадам. Я могу вам чем-то помочь?

– Да, но не мне, моему сыну, – отвечает мама и гордо показывает меня продавщице.

– Какой славный мальчик! И что нужно этому славному мальчику?

Нам попалась добрая продавщица.

Мама пристально смотрит мне в глаза и еще шире улыбается. Чего она от меня хочет? Ждет, что я взаправду скажу, что мне надо? Но она же знает, что я рта не открою. Я стеснительный. Заикаюсь. И вообще, не разбираюсь ни в какой одежде. Я думаю, что мама ждет чуда. Ей бы очень хотелось, чтобы я открыл рот и заговорил, как говорят мальчики в телевизоре, в рекламе или в кино. Выдал бы какую-нибудь прочувствованную сентенцию голосом маленького гения. Я был бы рад ее порадовать, но знаю, что буквы «р» сейчас же начнут путаться с «п», перепутаются все носовые, и в конце концов ей будет за меня только стыдно. Так что я, как обычно, только улыбаюсь.

– Как хорошо ты улыбнулся, сынок. Знаете, он так хорошо улыбается, мадам. У него такие умные глазки! Нам нужна пара носков для самого аккуратного, образцового школьника!

Продавщица и в самом деле оказалась очень доброй.

Мунир

– Вот увидишь, здесь хорошо, – сказал дядя Али. – Здесь живут евреи.

Для моих родителей присутствие евреев было гарантией благополучия и залогом добрососедских отношений с французами. В Касабланке евреи жили в богатых кварталах, среди французов, у них это получалось. Они работали с французами, торговали, не жалели времени, чтобы стать на них похожими, и почти от них не отличались. А вот это самое «почти» сближало их с нами. В него входили клише культурных, религиозных и бытовых навыков, от которых не получилось отказаться. Сблизившиеся делились на «недо» и «чересчур». На «недо» плохо сидели пиджаки, на рубашках могли быть пятна, брюки съезжали, и они немилосердно коверкали «язык Мольера». «Чересчуры» были подчеркнуто хорошо одеты, ходили с прямой спиной, высоко вздергивали подбородок, полуприкрывали глаза и не жестикулировали, но не могли избавиться от акцента, который неуклюже пытались компенсировать устаревшими жаргонными словечками.

Может, евреи и не хотят этого признать, но у нас с ними много общего. Мы говорим на одном языке, слушаем одинаковую музыку, у нас одинаковые кулинарные пристрастия. Наши отношения – парадокс, в них переплетаются привязанность и страх, уважение и недоверие. Но наше сходство сильнее всего остального.

В общем, известие о евреях, живущих в этом квартале, было отличным. Хотя сам квартал Оливье-де-Серр показался нам очень унылым. Он состоял из семи рядов темных домов, и не сказать, что повсюду возле подъездов очень было чисто. Мы с братом не заметили ни одной площадки, где могли бы играть. Проходы повсюду узкие, дома обветшалые. У домов в центре Касабланки был совсем другой вид. Хотя надо сказать, мы были совсем не в центре Лиона, а в Виллербане, его ближайшем предместье. Да и в Марокко, если говорить откровенно, мы жили вовсе не на красивых улицах Касабланки, а в нескольких километрах от города, в деревеньке, где точно так же теснились не похожие на эти дома. Но все там было гораздо доброжелательнее.

В квартире три комнаты и кухня.

– Придется вам потерпеть какое-то время. Думаю, через несколько месяцев сможете снять и побольше, – сказал дядя Али.

Он прекрасно знал, что при нашей неустроенности эти три комнаты для моих родителей – просто находка, но ему хотелось отделить прошлое от настоящего, подчеркнуть, как выгодно положение эмигранта.

Мы шагали за ним следом в полном восторге.

– Пойдемте на балкон. Взгляните вниз, видите? Мясная лавка. Она кошерная², так что проблем не будет. И халяльные³ продукты есть... Согласитесь, лучше не бывает. Рядом овощная лавка, но фрукты и овощи лучше покупать на рынке. Там и выбор больше, и цены ниже. Рынок недалеко, на площади Гранклеман (мои родители будут называть ее «Гронклемон»). Школа для ребят за этим домом. Называется Жюль-Перри или Ферри, не помню. Мунир пойдет осенью в школу. Он же у нас большой! А Тарик в детский сад. Их надо записать как можно скорее. Начало занятий не за горами. Но вы не беспокойтесь. Здесь с этим нет проблем. Завтра пойдем в мэрию и все уладим.

Когда я узнал, что пойду во французскую школу, мне стало нехорошо. Как там меня примут? Что скажут? Заметят мой акцент? Ладно, по-французски я говорю хорошо, но это по сравнению с моими друзьями-марокканцами. А тут может выясниться, что я делаю ужасные ошибки и исправить их уже невозможно!

Мне захотелось выскочить и побегать, избавиться от напряжения и страха. Я подал знак Тарику, и мы с ним побежали на улицу.

У подъезда стояли и разговаривали несколько арабов, они нам улыбнулись. Алжирцы. Папа недолюбливал алжирцев. Называл забияками. Их арабский тоже отличался от нашего, они говорят жестче и быстрее, поэтому со стороны и кажется, что они ругаются и ссорятся.

Ватага ребят спорила вокруг мяча. Они посмотрели на нас, подождали, пока мы подойдем.

– Сгоняем в фут? По-швейцарски?

В недоумении я взглянул на Тарика.

Что значит – «сгоняем»? Почему не сказать – «давайте поиграем в футбол»? И что значит «по-швейцарски»? Алжирцы, они и есть алжирцы! У них все не как у людей!

Но времени на размышления не осталось. Мяч уже подкатился к моим ногам. Ну сейчас я им покажу, как умеет играть марокканец!

Рафаэль

Это был важный день. Настолько важный, что мама не пошла на работу.

Она суетилась, бегала туда-обратно, из спальни в ванную, из ванной в спальню, то в испуге, то в эйфории. А я неподвижно стоял перед зеркалом.

Это меня она одевала, причесывала и давала советы. Наставляла. Предостерегала.

– Имей в виду, я на тебя рассчитываю, ты должен показать, что ты воспитанный мальчик. Я тебе уже говорила: очень многое зависит от впечатления, которое ты произведешь на учительницу. Сегодня решающий день. Ты идешь в школу! Нет, ты можешь себе представить? Сегодня начинается твоя жизнь! Как же я горжусь тобой!

Мама застыла на месте и посмотрела на меня.

– До чего хорош! Просто плакать хочется!

² Кошерный – пригодный для употребления в пищу и не противоречащий канонам ортодоксального иудаизма.

³ Халяль – всё, что разрешено и допустимо в исламе. Чаще всего этот термин относится к дозволенной мусульманам пище.

Мама плачет по любому поводу. От песни про любовь, от романа в газете, от поцелуя в щеку, от неудачной прически, от подгоревшего жаркого.

Я не уверен, что я так уж хорош, как она говорит, но мне это безразлично. Я в бермудах и клетчатой рубашке. У меня красивые коричневые ботинки и белые-пребелые носки почти до самых колен. Костюм для меня настолько непривычный, что я воздерживаюсь от какого-либо мнения.

Мама торжественно протягивает мне темно-синий школьный халат и помогает надеть его с такой осторожностью, что мне начинает казаться, будто нейлон – очень хлипкая материя.

– Я с таким трудом нашла его! Мне так хотелось, чтобы ты носил настоящий школьный халат, как все французские школьники. В Марокко такие носили только ученики самых богатых закрытых школ.

И зачем она потратила столько времени на мое одевание, если закрыла мои бермуды халатом?

Жюльен проходит мимо нас, он давно уже оделся. Остановившись, он взглянул на мое отражение в зеркале и пожал плечами. Ему не нравится, что сегодня я на первых ролях. Его поступление в эколь матернель⁴ обставлено совсем не так торжественно. Для мамы эта школа тот же детский сад, ну, может быть, чуть получше. Настоящая школа – это там, где учат чтению, арифметике и всем другим наукам, открывая дорогу в будущее. А сад есть сад, и Жюльену приходится довольствоваться моей старой одежкой.

– А где мой халат? – начинает он плаксиво.

Мама разворачивает красный халатик и натягивает на него.

– А почему не синий, как у Рафаэля?

Мама не отвечает, она устремляется в спальню к нашему младшему братцу Оливье, ему два года, и он еще не принимает участия в наших разговорах.

– А что написано у тебя на халате? – спрашивает Жюльен.

Я только что спрашивал об этом маму, и она мне гордо ответила: «Жан де Лафонтен. Знаменитый писатель. Вы обязательно будете учить его басни».

– Имя одного футболиста.

– Надо же!

Жюльен под впечатлением.

– Классного?

– Ага. Жюст Фонтен. Команда Реймса. Он там лучший.

Брат наклоняет голову и смотрит на свой халат.

– А на моем что написано?

– Реклама. Порошок для чистки тубзиков.

Жюльен посмотрел на меня с ужасом.

– Мама!!! – отчаянно завопил он.

– Успокойся! Я пошутил. Откуда мне знать, что там написано, дурачок! Я же только сегодня пойду в школу.

Пора выходить.

По дороге мама, кокетливая и горделивая молодая женщина, улыбается прохожим, которые на нее и не смотрят. А ей, ослепленной своим волнением, кажется, что весь мир понимает важность этого дня, что он в восхищении от ее трудов. Она потихоньку дает мне последние советы, то и дело проводя рукой по моим волосам, чтобы пригладить вообража-

⁴ Французский детский сад.

емый вихор. Мы с Жюльеном шагаем по обеим сторонам коляски, из которой Оливье созерцает движение облаков.

Перед школой мама берет меня за плечи, поворачивает к себе, оглядывает, все ли в порядке. Хочет поцеловать, но не целует – боится испачкать помадой – и просто прижимает к себе и стоит, закрыв глаза. Потом искоса оглядывает других ребят, исподволь отмечая, как одеты они сами и как их мамы.

Я вхожу во двор под арку и чувствую спиной мамин гордый взгляд.

Мунир

Папа купил нам ранец и принес «обновки из секонд-хенда», так он сказал, вернувшись из странствия по площади Дю Пон.

Площадь Дю Пон. Оазис посреди городской пустыни. Мусульмане встречаются там с друзьями, останавливаются, рассказывают о работе, квартире, надеждах, разочарованиях. Иной раз появляется там новичок. Бредет с растерянным взглядом, неуверенной улыбкой. Как ему хочется встретить знакомое лицо, увидеть односельчанина, соседа по дому. Завсегдатаи присматриваются к нему. Вспоминают себя: и они были так же растеряны, не уверены в себе, сбиты с толку. И старожилы не оставляют новичка блуждать в одиночестве. Присущее им гостеприимство, солидарность земляков в чужой стране заставляют их окликнуть новичка. И вот его уже втянули в разговор, угостили чашечкой кофе.

На площади Дю Пон можно все продать, все купить, все рассказать и помечтать о чем хочешь. Здесь предложат пару кроссовок и вполне еще сносные брюки, там гору носков, а дальше несколько платьев на любую фигуру. И еще множество всяких мелочей, купленных дешево оптом, так сказать, «с грузовика», тоже, как все остальные товары, разложенных на земле.

Папу, когда он впервые оказался на площади, приняли тепло. Он с большим удовольствием нам рассказывал, с какими «солидными» людьми он там познакомился, и даже встретил друга-марокканца.

Мама выстирала и отгладила наши «обновки»: темно-синие хлопчатобумажные шорты, белые рубашки. К ним еще куплены туфли на каучуке и школьные халаты. Мы с Тариком смотрим на себя, пытаюсь понять, как нас изменили новые костюмы. В Касабланке так ходили маленькие французы.

Мама приготовила нам сытный завтрак. Обычно нам хватало пиалы какао с набухшими в ней кусочками вчерашнего хлеба. Мне вообще по утрам есть не хочется. Но сегодня не стоит капризничать, это точно. Мама постаралась, накрыла особенный завтрак: купила свежий хлеб, нарезала его большими ломтями, щедро намазала маслом, а потом конфитюром. Рядом с пиалами стояли стаканы с апельсиновым соком. Мы с Тариком смотрели на это пиршество, не отваживаясь сказать ни слова. Мы молчали, а в нас просыпался аппетит. Два маленьких француза сейчас сытно позавтракают, а потом отправятся в школу. Как же мне хочется этого хлеба, этого конфитюра, этой новой жизни, которая вот-вот начнется! Хочется стать французом.

Мама улыбнулась, довольная, что мы такие нарядные. Но когда мы подошли к столу, нахмурилась, словно вспомнила о чем-то страшно важном.

– Ну и ну! Какую мы сделали глупость! Вы же сейчас все испачкаете! А ну снимайте рубашки!

Папа согласно закивал головой.

– Zid! Zid!

– Давайте мы вокруг шеи повяжем салфетки! – жалобно предложил Тарик.

– Никаких разговоров!

И вот мы уже в трусах и тапках сидим в кухне на табуретках.

Школьники-французы тоже завтракают в трусах? Что-то мне это не нравится.

Даже аппетит пропал.

Мы подходим к школе. Мама в панике. Она теряется, видя перед собой нарядных светлокожих женщин. Остановившись вдалеке от входа, она принимается искать кого-то глазами. Увидев группу арабов из нашего квартала, направляется к ним. Ее приняли с распростертыми объятиями, но разговор здесь ведется тише, чем на улице возле нашего дома. Все эти женщины чувствуют здесь себя скованно. Одежда, акцент, родной язык отличают их от местных. Женщины глядят нас по головам, хвалят маму за наши костюмы. Рядом с мамами стоят сыновья и дочери и тоже смотрят на нас. Кое-кого из мальчиков я уже знаю, мы вместе играем в футбол, встречаемся на улице.

До меня доносится голос, усиленный мегафоном: детей просят подойти к входу в школу. Страх скрутил мне кишки. Чего я боюсь?

Рафаэль

В мегафон нам читают список, мы слушаем. Бетонные стены двора отзываются эхом, которое тонет в нашем гомоне. Маме то и дело чудится мое имя. Когда его наконец произносят, она вздрагивает и ведет меня к указанному месту. Я вижу, что она пытается встретиться взглядом с учительницей, но та занята наведением порядка. Учительница будет учить нас чтению, письму, счету и, похоже, очень хорошо понимает, какая она важная. Сухопарая, с острыми чертами лица, с прямой спиной. Она смотрит на нас критически, готовая каждому сделать замечание за недисциплинированность. Я ее опасаясь, почти боюсь. Подняв голову, принимаю вид бодрого солдата.

Мама меня одобряет. Поправляет воротник куртки, гладит по щеке. Но я не знаю, готова она расплакаться или рассмеяться. Лично мне хочется больше плакать. Жюльен улыбается мне, я ему тоже.

Перед тем как войти в класс, учительница просит нас снять куртки и повесить их на вешалку. Мы входим в большую комнату, где пахнет пластиком и моющим порошком. Учительница велит нам выбрать себе парту и встать возле нее, поставив у ног ранец.

Я выбрал место в глубине класса. Строгие светлые глаза учительницы обежали ряды и остановились на мне.

Она подходит ко мне, улыбаясь. Улыбка у нее благожелательная, но чуть-чуть насмешливая.

– Вижу, что не всем родителям сообщили о переменах. Скажи маме, что халаты теперь не обязательны. Ты можешь ходить в нем, если нравится, но в школе их больше не требуют.

Вокруг меня раздается тоненький смехок. Я оборачиваюсь и вижу щекастого паренька, чей безгубый рот с острыми зубами растянут в улыбке. Смотрю на других ребят и вижу, что все они в обычной одежде. Во рту у меня пересыхает, перед глазами плывут пятна, мне кажется, что моя голова буквально набухает от стыда. Как же я смешон в своем синем халате, с косым пробором и в белых носках.

– Это и к тебе относится! – продолжает учительница.

Слева от меня, через три ряда, мальчик поднял голову, словно давая молчаливый отпор насмешкам.

– Похоже, что в Северной Африке школьные правила не менялись, – предательски усмехается учительница.

И снова слышится смех. Кто-то смеется громче других – тот же парень со злобным взглядом.

Нас, новоявленных французов, сразу вывели на чистую воду. Мы заложники гражданства, французы, но не такие, как настоящие. Слишком старательно одеваемся, улыбаемся, подделываемся и выглядим карикатурами. Одним словом, Северная Африка...

Я мало что помню о Марокко, но Марокко меня выдает.

Через две минуты, во время переключки, я узнаю, что весельчака-идиота зовут Александр Бланшар, а второго североафриканца – Мунир Басри. Когда я отвечаю «здесь», он поворачивает голову, и наши взгляды встречаются.

В первую секунду мы друг друга ненавидим. Друг в друге мы видим отражение своего стыда и унижения, но, закончив короткий молчаливый разговор, понимаем, что между нами установилась связь. Независимо друг от друга мы жили похожей жизнью, и теперь наши дороги пересеклись. На перекрестке начальник сразу же потребовал от нас документы.

Прожито всего только шесть лет, а за спиной уже прошлое.

2. Взгляд со стороны

Мунир

Я выбрал себе место в третьем ряду и стал рассматривать одноклассников. Придумывал, как они живут, представлял, какие у них папа, мама, квартира, собака или кошка. Разглядывал, кто как одет, кто как себя ведет, подмечал что-то особенное и старался заглянуть в их жизнь. Обычно с симпатией, изредка без, смотря по обстоятельствам и настроению. Таким образом я общался с Францией.

Самая прекрасная жизнь придумалась у меня для мальчика по имени Франсуа. Он всегда был хорошо одет, красиво причесан и отлично учился. Ранец, мешок для обуви, одежда – все говорило, что он и есть маленький француз, любимый и балованный. И мне становилось стыдно, что я за ним слежу. Что он обо мне подумает? Что подумает о моих носках, которые вечно съезжают, линялых бермудах, поцарапанных ботинках? Я искал в его взгляде насмешки или жалость. Но нет, он смотрел весело и доброжелательно.

Я видел его дом, окруженный красивым зеленым садом. Отец у него высокий, худой, живой и любезный. Он целый день на работе, а когда приходит вечером, вешает плащ и ставит портфель с бумагами. Потом целует жену, садится на диван и берет в руки красивый журнал. Жена ему ласково улыбается. У Франсуа красивая мама. Даже очень. Ходит в сером костюме, а когда садится, красиво скрещивает ноги. Потом отец подходит к Франсуа, заглядывает к нему в тетрадку, проверяет домашнее задание, объясняет непонятное, гладит по голове. Они смеются. А потом все вместе садятся ужинать. На тарелках у них что-то очень вкусное, и они ведут серьезный разговор об очень серьезных вещах.

Потом мама садится на край кровати любимого сыночка и рассказывает ему разные истории. Глаза у Франсуа закрываются. Она его целует, поправляет простыню и тихо выходит. Вот так в моем воображении живет Франсуа. Ничего особенного, я знаю, но мне такая жизнь нравится больше всего. Клише за клише, согретые ровным семейным теплом. Фантазия, а точь-в-точь соответствует реальности. Соответствует Франсуа – поведению, одежде, спокойствию, с каким он смотрит.

Когда я сообщил родителям, чем занимается отец Франсуа, они с уважительным восхищением покачали головами. Я вообще-то немного преувеличил. Повысил его отца в должности. Я знал, что тот работает в банке, и сделал его директором, чтобы доставить маме и папе удовольствие. Подумать только, их сын учится в одном классе с сыном директора банка! Ничего не скажешь, дядя Али выбрал очень хороший квартал! Надо сказать, что у нас в доме считается, что директор банка – самая благородная в мире профессия. Вы только представьте, каким надо быть замечательным человеком, чтобы тебе доверили хранить деньги честных людей! Я видел: перед сияющими гордостью глазами мамы и папы проходят такие же, как у меня, воображаемые картины. Мечты о жизни.

Какие? А вот какие: в один прекрасный день я стану французом, и у меня все будет точно так же, как у Франсуа. Папа будет возвращаться домой, вешать на вешалку плащ, ставить кейс, целовать маму, проверять у меня уроки... Конечно, я знаю, что такое невозможно: мама всегда будет носить свои широкие до полу платья и шаркать туфлями, всегда будет оборачивать голову платком и по целым дням стоять у плиты, напевая что-то протяжно восточное.

А к вечеру с вечным своим «уате» рухнет в потертое плюшевое кресло в столовой.

Папа, усталый донельзя, придет с работы, поздоровается с мамой беглым взглядом и устроится у телевизора, улыбаясь во весь рот испорченными или позолоченными зубами. И

всегда будет произносить все слова неправильно. Да, такие у меня родители, и они такие же хорошие, как у Франсуа. А то и лучше. Мне не за что за них краснеть. До чего же я их люблю! Бывает, конечно, что мне хочется, чтобы они немного изменились, держались посдержанней, одевались не так ярко, говорили по-французски грамотнее. Но нет, невозможно. Мы живем во Франции, но мы еще не французы. И даже если станем ими, по нашему удостоверению личности не дадут кредита в дорогих магазинах. Мы не изменим фамилий, лиц, привычек.

Но иногда я все же мечтаю, будто я это Франсуа. Мне нравится так мечтать. Я мечтаю об этом в классе, глядя на его аккуратный затылок, отглаженную рубашку, начищенные ботинки. И когда наслажусь в полной мере разделяющей нас бездной, заглянусь на другого ученика. Пьера, Марка, Жозе, Энзо... У меня нет затруднений в выборе. У них отцы кто рабочий, кто продавец, кто разносчик. Профессии поскромнее, манеры попроще, язык поглубже. В общем, я продолжаю мечтать. Представляю их жизнь, и меня разъедает кислота пожеланий. Как бы ни жили мои соученики, мое положение самое незавидное. Они французы, у них светлая кожа, гладкие волосы и возможность стать когда-нибудь Франсуа или хотя бы встать от него неподалеку.

На самом деле легче всего мне представить себе – причем без малейшей зависти – жизнь Рафаэля. У него глаза, как у моего брата Тарика, он приехал из той же страны, что и я. Иногда, когда он говорит, я чувствую своим ртом те затруднения, которые он испытывает, у нас одинаковые проблемы с произношением. Особенно носовые: баллон, волан... Я видел его маму в школьном дворе. Она одета лучше моей, евреи больше стараются стать похожими на французов. Но в ее походке, улыбке, взглядах на других мам я чувствую то же стеснение, какое появляется в моей маме, когда она выходит в город.

И мы с Рафаэлем ведем себя одинаково. Он часто поглядывает на меня исподтишка. Я чувствую к себе его симпатию. А иногда враждебность.

Но он приспосабливается лучше меня. Он уже в приятельских отношениях почти со всеми в классе. Надо сказать, что у него и кожа светлее, и имя французское. «Евреи умеют раствориться в узоре», – как-то сказал мне папа. Они умеют ладить. Мне ни с кем не захотелось ладить. Или можно сказать по-другому. Я чувствую, что никто из них не хочет кинуть мне мяч, позвать играть в свою команду. И я иногда ненавижу их за то, что они так бездумно хохочут и только и знают, что играть в футбол и подсчитывать голы. Но когда я присоединяюсь к ребятам-арабам и говорю, что со своими лучше, когда болтаю, не задумываясь, мешая французский с арабским, то внутри у меня сосет червячок. Мне обидно, что я не с французами, а Рафаэль бежит с ними в центре двора.

Рафаэль

Обстоятельства, при которых мы Муниром стали друзьями, определили наши отношения. Случилось это вскоре после нашего поступления в школу. Я легко подружился с французами. Мунир оставался в стороне. Позже он говорил, что это был его первый опыт дискриминации. И нельзя сказать, что он был неправ. Арабы для других детей словно бы не существовали. Не было никаких внешних проявлений неприязни – дразнилок, обидных слов, – а если и бывали, то крайне редко – отталкивали взгляды, молчание, и арабы сбивались в отдельную кучку.

Было бы нечестно не признаться и мне: я и сам вел себя точно так же. И... мне было даже приятно, что это так. Выходило, будто я сам не иммигрант. Но я думаю, мы были одинаковыми, два темных пятнышка на светлом фоне. Однако моя почти европейская внешность, привычное имя послужили мне пропуском: ребята очень скоро стали звать меня играть. Меня, но не его.

Мунир иногда смотрел, как мы играли в футбол. Он ничего не говорил, не выражал никаких чувств, но следил за нашими передачами, дриблингами, голами с бесстрашием опытного игрока, отмечающего все промахи мальчишек своего возраста. Я знал, он ждет, что мы его позовем. И знал, что позвать его могу только я.

Я старался не замечать его, и в то же время невольно искал глазами, замедляя пробежку, меняя направление, обрывая смех. В глазах Мунира теплился особый огонек – огонек жизни, которая просыпается только в тех, кого задела колеса истории. Любопытство, смешанное с опаской, не дающее человеку заснуть, чтобы не сумели застать врасплох. Желание найти ответы на множество вопросов. Оно жадно вбирает в себя окружающее, заполняя пустоты, которые выдул в душе ветер перемен, заставивший сняться с места и так и не утихнувший.

Но сблизился я с Муниром не только потому, что в глазах у нас тлел одинаковый огонек, но еще и потому, что новые мои друзья были еще очень маленькими и желания их казались мне детскими. Они жили в сегодняшнем дне, у них не было прошлого, а будущее сводилось для них к завтрашнему матчу или веселой шутке, которой хочется с кем-то поделиться. Я смотрел, как они заводят себя, веселятся, смеются. Но никогда не был с ними целиком и полностью. Я был среди них. Между нами была дистанция, и она позволяла мне проживать настоящее и наблюдать за ним. Я не только кричал, но еще и слышал, как я кричу. Как «бодрствующие сновидцы» наблюдают за собой во сне, так я наблюдал за собой, живущим рядом с ними, повторяя чужие движения и слова и отдавая себе отчет, что подражатель я не из лучших. Настоящее не поглощало меня целиком. Часть моей жизни осталась за порогом, она не давала мне «раствориться в узоре», как говорили у нас в Марокко.

С Муниром мы подружились во время футбольного матча. Но, вполне возможно, я придал такое важное значение именно этому матчу много позже. Придал ему тот смысл, которого в нем тогда не было. Есть у меня недостаток: мне кажется, что каждое мгновение моей жизни – это пазл, что в нем есть особое значение, которое откроется в будущем. А вы? Есть у вас такое ощущение?

* * *

В общем, так: мы играли в футбол. Мяч ушел за линию. Я побежал за ним. Он катился прямо на Мунира, и тот уверенно его остановил, поставив ногу. Он хотел было послать его на поле, но удержался, дожидаясь, когда я подниму на него глаза. Я улыбнулся ему и поблагодарил за мяч. Он посмотрел на меня. И столько было сказано этим взглядом. Я больше не колебался.

– Будешь играть?

Мунир не ответил. Он двинулся за мной и повел мяч.

Ребята не знали, что сказать. Одни не смотрели на нас, другие смотрели с полным безразличием. Никто не возражал. Да что, собственно, возразишь?

– Будешь в моей команде. Давай, иди вперед.

Остальное решила игра Мунира. Сложные, но эффективные дриблинги вмиг показали его лучшим игроком. Он двигался вперед напористыми толчками, набычившись, отвоевываю каждый сантиметр поля. Его неутомимость удивляла. Я посмотрел на Александра, главного нашего заводилу, он был в ярости. Ему не нравился я, не нравился Мунир. По сути, ему никто не нравился. Он делал вид, что покровительствует тем, кто сразу подчинился его силе, но я знал: их он тоже презирает. Он умел общаться только с позиции силы. То, что Мунир умеет играть, было ему как кость в горле. До сих пор мы просто гоняли мяч, подражая кое-каким пасам, не слишком напрягаясь, чуть ли не дожидаясь, когда мяч сам закатится в ворота. Мунир вел мяч, передавал, бил по нему, чтобы выиграть. В каждое движение он вкладывал волю. Взгляд у него стал совсем другим. Он видел цель, обходил противников,

безмолвно упрекал своих за малейший промах. Мне нравилась его игра, и я ее боялся: она нарушала равновесие, делала его главным на поле. На мой взгляд, было бы лучше, если бы он открывался постепенно, пробуждая желание его принять. Ну вот для чего ему так издеваться над противником, расставив ему ловушку, а потом обойдя? Что ему за радость с такой легкостью забивать за голом гол? Что он хочет доказать?

Теперь в игре участвовали две футбольные команды, и еще два лагеря. Один состоял из тех, кто, оробев, сразу подчинился напору Мунира. Это были самые беззубые, они почувствовали его силу, возможность конфликта, но не вступили в него, им понравилась энергия Мунира, которой им самим не хватало. Другой состоял из его противников, хороших игроков, забияк, сильных личностей, которых злили его мощь и ловкость.

Но противоречивые чувства не помешали восхищению, я обнаружил, что аплодирую приемам Мунира, хохочу, увидев расстроенные лица наших противников, гордо приветствую наш финальный счет. Игра кончилась, и я, смеясь, подошел к Муниру, хлопнул по плечу, пожал руку. Он улыбнулся мне и опустил глаза. Он снова стал маленьким мальчиком, смущенным тем, что на него смотрят.

Мунир

Рафаэль часто рассказывал историю со школьным халатом, которая будто бы нас сдружила. Лично я такого не помню. Еще он говорил, что мы сдружились во время футбольного матча. Возможно. Футбол был нашей страстью, мы так из-за него ругались.

Я не мешал ему рассказывать свои истории. Они родились, когда мы, гордясь нашей дружбой, пытались создать собственную легенду, пазл, который бы занял место в общей картине. Легенду, созвучную ходу истории. Пазл, представляющий нас моделью возможного согласия.

Так значит школьный халат... Ну, не знаю... Футбольный матч... Честно сказать, не помню. В любом случае, двух этих историй маловато, чтобы объяснить нашу дружбу. Дружба требует не историй, а какого-то существенного события.

По мне, так мы подружились позже. Когда стали ходить в бассейн. У меня есть точная точка отсчета: в тот год я научился плавать.

* * *

Раздевалка муниципального бассейна. Первый урок плавания. Я весь на нервах, подавлен, напуган. Ночью почти не спал. С открытыми глазами шаг за шагом представлял себе будущий кошмар. Теперь мне предстояло его прожить.

Я не умею плавать. И французам предстоит об этом узнать. Они поднимут меня на смех.

Еще несколько минут, и урок начнется. Запах хлора добирается до легких, я даже немного задыхаюсь. До раздевалки из бассейна доносится ребячий гам, видно, другие классы уже в воде. Я стягиваю с себя свитер. Болтун Александр строит из себя знаменитого пловца и рассказывает о своих подвигах кучке болванов, которые предпочитают посмеиваться, но одернуть его не решаются. Мне зябко. Меня подташнивает. Стараюсь не думать о неизбежном унижении.

– Ну что? Есть тут кто-нибудь, кто умеет плавать? – спрашивает Александр.

Я мгновенно напрягаюсь. Это он ко мне?

Нет, это он ко всем, ко всему классу. Воцаряется тишина, и мы исподволь посматриваем друг на друга. Я чувствую, как у меня колотится сердце. Я чувствую, сейчас они выберут меня.

– Ну! Кто умеет плавать, поднимите руку!

Я внимательно слежу за руками. Поднимается только три! Я в шоке. Ну надо же! И тревога меня отпускает, кровь снова бежит по жилам, мне уже не так холодно.

– Лично я плаваю по-индейски, – объявил один из пареньков.

Александр расхохотался.

– Всего-то! А остальные? Сколько, однако, у нас девчонок!

Мне очень хочется съездить ему по морде, но я ему и благодарен тоже, волей-неволей он помог мне успокоиться. Да наплевать мне, что он разыгрывает из себя героя, раз мне не придется позориться.

И тут раздается голос Рафаэля, он смотрит на Александра и говорит:

– Ну ты и тупой! Мы же здесь как раз, чтобы научиться. Повезло тебе, что у твоего папаши денег куры не клюют и он возит тебя отдыхать и платит тренерам.

Александр усмехается, но он немного растерян, отпора он не ожидал. Рафаэль ненавидит его не меньше меня, и это нас с ним сближает.

– А с чего это он взъерепенился? Девчонок на свой счет принял?

Глаза его хитро поблескивают.

– Ладно! Думаю, тут и парней немало! Вот оно, доказательство!

Александр стягивает плавки и берет в руки свой прибор.

Ребята хохочут.

– Давай показывай свой!

Рафаэль отворачивается к стене. Он снимает брюки, не обращая внимания на хамлюгу.

– Ой, да! Я же забыл! Ты еврей! А вам яйца отстригают при рождении!

Все притихли, услышав насмешку.

Уставились на Рафаэля в плавках, а он замер с брюками в руках.

– Вы что, не знали? Да! Евреи при рождении делают себе обрезание и становятся девчонками. Сейчас увидите. Давай, Рафаэль, показывай!

– Вот я сейчас тебе покажу, гнида! – отозвался Рафаэль, не поворачивая головы.

Насмешка касалась и меня, я это почувствовал. Александр ко мне не обращался, но мне показалось, что его издевательство метит и в меня тоже. Может, потому, что я тоже обрезанный. Или дело в другом? В чем бы ни было, он пытался унижить и меня тоже.

– Ишь, как он со мной разговаривает! Что? Не хочешь показывать? А нам посмотреть охота! А ну, парни, помогите, мы сейчас поможем ему снять трусы!

Два или три паренька из свиты встали, ухмыляясь. Александр, чувствуя за собой поддержку, сделал шаг и положил руку на плечо Рафаэля. Тот обернулся. Лицо его выражало отчаянную панику и отчаянную решимость. Александр увидел только панику и протянул руку, чтобы схватить его за шею. К нему поспешили помощники. Рафаэль вывернулся и нанес удар точно в нос. Мне показалось, что я услышал хруст носового хряща, а уж потом тонкий взвизг поросенка, которого режут. Остальные, почувствовав угрозу, толпой окружили Рафаэля. Я встал с ним рядом и одного из надвинувшихся отодвинул, прижав к стене.

Дверь раздевалки распахнулась.

– Что тут происходит?

Инструктор по плаванию, коренастый широкоплечий мужчина, уставился на Александра, увидев кровь у него на руках и на груди. Потом перевел взгляд на сбившихся в кучу ребят и, проследовав за их озадаченными взглядами, обнаружил нас, стоявших рядом и готовившихся к обороне.

Факт свидетельствовал против нас, дело было очевидным.

Рафаэля вызвали в кабинет к директору первым. Я дожидался в коридоре и очень боялся. Месье Лапорта боялись все. Говорили, что для озорников и неслухов он скор на

оплеухи, а его любимое наказание – поднять человека на метр от земли за уши. Плотный, высокий, с низким голосом, густыми бровями и пронзительным взглядом – таким вот был месье Лапорт, и от одного его вида все трепетали. Я ждал, что сейчас Рафаэль закричит от боли, и к горлу у меня подкатывал завтрак, с которым я готов был расстаться. Но пока до меня доносились только громовые раскаты голоса людоеда. Сыпались устрашающие слова: идиот... наказание... родители... выговор...

Дверь открылось, и мне захотелось убежать. Но чудовище уже стояло рядом, оно вывело Рафаэля в коридор. Я уставился на приятеля, боясь, что увижу следы пыток. Но, похоже, его не тронули.

Директор посмотрел мне прямо в глаза, он явно колебался, а у меня душа ушла в пятки.

– Ладно, хорошо. Отправляйся в класс.

Мне показалось, я ослышался, но в следующую минуту, ошалеv от счастья, уже ринулся вслед за Рафаэлем. Я постарался немного продышаться и только потом с ним заговорил:

– Я сказал, что ты ни при чем. Наоборот, хотел нас разнять.

– Спасибо.

В легких у меня было слишком мало воздуха, чтобы выразить всю полноту благодарности.

Рафаэль повернулся ко мне и улыбнулся.

– Спасибо? Это я должен тебя благодарить.

– Да нет, что ты!

Вообще-то мне сейчас было не до разборок, кто и кому должен быть благодарен, мне хотелось отдышаться и точно узнать одну вещь.

– Он тебя бил?

– Нет, не по-настоящему, – спокойно ответил Рафаэль.

– За уши, да?

– Да.

– Плакал?

– Нет. И, похоже, это его разозлило.

Я посмотрел на его уши, они были красные.

– Высоко поднял?

Я не мог не спросить об этом!

– Да нет, не поднимал. Просто тряс.

– Понятно!

– На триместр запретил ходить в бассейн, но на это мне наплевать. И еще назначил одно наказание.

– Какое?

– Написать триста раз: «Я не должен драться со своими товарищами».

– Жуть!

– Но это еще не все. Он зовет к себе завтра моих родителей. Мне теперь хоть умирай!

– Да ты что...

Вот тут-то я понял, до чего же мне повезло, что меня отпустили! Я представил себе, как плачет мама, как воздевает вверх руки отец...

– Но и это не худшее.

Я оставил своих родителей в трагических позах, точно зная, что мне такого наказания более чем достаточно, и спросил:

– А что еще?

– Я должен извиниться перед сволочью Александром.

– Ух ты! Но это уж слишком!

Рафаэль

Я боялся, что скажет отец. Человек спокойный, мягкий, он совершенно менялся, если речь шла о школе или учебе. Школа – святая святых, главное в жизни, показатель достоинств и недостатков, успехов и провалов, от которых зависит будущее.

Отец прочитал записку и удивленно посмотрел на меня.

– Ты? Дрался?

Его недоверие говорило, что до сегодняшнего дня меня считали дома кроткой овечкой.

– Я защищался.

Отец повысил голос:

– Ты прекрасно знаешь, что я не хочу, чтобы ты дрался. Если кто-то из ребят пристает к тебе или дразнит, ты должен подойти к учительнице и сказать, а не распускать руки.

– Знаю, но он меня...

– Не хочу ничего знать. – Отец сурово взглянул на меня и стиснул зубы. – Ты не должен был его бить. Точка.

Он сердился на меня, и у меня защипало в горле.

– Нет, ты послушай! Он сказал, что мне... Хотел...

– Замолчи! Ты не имеешь права бить своих товарищей!

Я расплакался. Слишком тяжкий день выпал мне на долю, я же еще не взрослый. Драка. Гнев Лапорта. Мои несчастные уши. Страх перед наказанием.

– Реви, сколько хочешь! – сердито продолжал отец. – Как я завтра буду выглядеть перед директором? Дураком?!

– Успокойся, Жак, – вступилась мама, чувствуя, что отец разгорячится сейчас без меры.

– Успокоиться? Да как я могу успокоиться? Разве так я воспитывал своего сына? Хотел вырастить из него драчуна и бандита? Что я буду говорить директору? А если родители этого мальчика подадут на нас жалобу? Если мы с тобой пойдем из-за него в тюрьму?

Папа любил все преувеличивать, но зрелище моего отца в наручниках и мамы, рыдающей у его ног, потрясло меня.

Отец схватил меня за плечи и принялся трясти. Похоже, взрослым кажется, что детское недомыслие – это что-то вроде кожуры, от которой нужно избавиться, чтобы мозги освободились.

Жюльен выскочил из соседней комнаты, наставив указательный палец на отца. Конечно, он стоял за дверью и подслушивал. До поры до времени он сдерживался, но больше не мог.

– Отпусти его! Не смей ему делать больно!

Все мы знаем, что Жюльен всегда вмешивается. Он вмешивается в любую ссору и всегда на стороне слабого. Дома его прозвали «защитником безнадежных». Я ценю мужество моего брата, но его вмешательство меня не радует. Сейчас папа разозлится еще больше. Первая пощечина достанется брату, все остальные мне.

Жюльен, набычившись, чтобы придать себе весу, продолжает, дрожа от гнева и ужаса:

– Он сказал, что Рафаэль еврей. И еще... говорил про его...

Жюльен замолкает и показывает себе между ног.

– Да! И он имел право защищаться, – заключает он дрожащим голосом.

Речь адвоката закончилась. Речь короткая, сбивчивая, но действенная. Слова Жюльена подействовали как магическое заклинание – все молча застыли на месте. Папа с приоткрытым ртом – он уже не грозит мне больше! – крепко держал меня за плечи, но уже не тряс. На лице у мамы читалось неодобрение, она была недовольна вторжением Жюльена. А я? Я

смотрю на брата с восхищением и немного растерянно. Он по-прежнему целит в папу указательным пальцем, и тишину в комнате нарушает только его сопение. Папа отпускает меня.

– Что ты такое говоришь? Какой еще еврей?

– Рафаэль еврей! Ты что, не знаешь? – отвечает Жюльен, раздраженный нелепостью вопроса.

– Да я-то знаю, – сердито отвечает папа.

– Тогда чего спрашиваешь? – вздыхает Жюльен, глядя на меня и пожимая плечами.

– Над тобой смеялись, потому что ты еврей? – спрашивает папа, нахмурившись.

Жюльен догадывается, что правильно выбрал довод. Он слышал на переменке, как ребята обсуждали нашу драку, и после уроков засыпал меня вопросами, крутясь вокруг, как упорная маленькая собачонка. Я не хотел ему отвечать, и тогда он пристал к моим одноклассникам, с которыми прекрасно ладил. Адвокат и следователь в одном лице.

Я кивнул и вытер слезы, которые все еще текли по щекам.

Папа с мамой тоскливо переглянулись. Отец, насвистывая, уселся в кресло.

– Иди-ка сюда, – позвал он меня.

Я подошел с немалой опаской.

– Да, – с торжеством продолжал Жюльен. – Он сказал, что у евреев нет... Ну, в общем, краника. И хотел снять с него трусы. И..

Папа повернулся к брату и показал ему на дверь.

– Быстро в кровать! И посмей только еще раз говорить со мной таким тоном!

– Но это же несправедливо! – заявил младший с горечью.

– Отправляйся!

– Почему я не могу остаться? Ты узнал правду, потому что я ее сказал! Если бы я не сказал, ты бы надавал как следует Рафаэлю, а потом что? Хорошо бы было?

– Спать, я сказал!

Приказ не подлежал обсуждению, Жюльен понурился с обиженным видом.

– Ну и ладно, но все равно несправедливо, – пробурчал он и побрел в детскую, сердито перебирая босыми ногами.

– Рафаэль, давай рассказывай, что у вас на самом деле произошло.

Я рассказал, что случилось утром в раздевалке. Лицо отца становилось все суровее и серьезнее. Когда я кончил, он взглянул на маму, в глазах у него светилась досада.

Мама сидела в кресле, сложив на груди руки, и по лицу было видно, что она в отчаянии.

– Ты правильно сделал, что дал этому идиоту по морде, – совершенно неожиданно сказал отец и сразу же пожалел о сказанном. – То есть я хочу сказать, что могу тебя понять. Но в будущем я бы предпочел, чтобы ты обращался ко мне, а не принимал подобных решений.

Я видел, что отец в затруднении. Случай был не из обыденных, у него в запасе не было готового решения, которое он мог бы мне вручить.

– Ну-у... Если бы я стоял и ждал, они бы меня раздели...

Отец закусил губу.

– Да, я понял. Ладно, иди спать, – проговорил он, желая собраться с мыслями. – Завтра поговорим.

Жюльен меня дожидался. Ему не нужно было ничего рассказывать, он все уже знал, стоял за дверью, приложив ухо.

– Спасибо тебе, – сказал я.

– Можно я к тебе спать? – спросил он, поспешив воспользоваться своим преимуществом.

Я кивнул, и мы нырнули в мою постель. В голове у меня крутилось множество слов и событий, их следовало привести в порядок, если я хотел заснуть.

Прошло несколько минут, дверь открылась, и, освещенный светом лампы из столовой, появился отец.

– Спокойной ночи, сыновья!

– Спасибо, пап, – хором ответили мы.

Он закрыл дверь и тут же открыл ее снова.

– Хорошую дулю он от тебя получил, так ведь, сынок? – прошептал он заговорщицким тоном.

Мне показалось, я чего-то недослышал.

– Ну-у... Да!

Жюльен поднялся на кровати и возбужденно заговорил:

– Классную дулю, папа! У идиота этого нос прямо хрустнул. Он так и повалился на пол. Настоящий боксерский удар! И даже...

– Скажи, пожалуйста, я тебя о чем-то спрашивал?

– Нет, но я...

– Ложись и спи!

– Несправедливо!

* * *

Драка с Александром положила начало моему внутреннему самоопределению. До этого я называл себя евреем, как француз может назвать себя бургундцем, фанатом клуба «Сент-Этьен» или поклонником Парижа. Небольшие, присущие нашей жизни особенности были настолько привычными, что я их не замечал: два-три раза в год мы ходили в синагогу, у входа висела мезуза⁵, коробочка с благословением дому, на книжной полке лежал молитвенник. А несколько традиционных блюд казались мне привезенными из Марокко – страны, где я родился. Драка стала эпицентром моей внутренней, личной жизни. Историей о неслыханном насилии, о готовности надругаться над моими мечтами, над детской беззаботностью, о желании заслонить от меня мир пыльной ледяной завесой, сквозь которую не пробиваются ни краски, ни свет.

Я не знаю, правильно ли поступил отец, открыв мне слишком рано слишком многое. Возможно, из-за случившегося он поспешил взять на себя роль проводника, желая уберечь меня от других случайностей. Уверен, о трудном нашем разговоре он думал с самого моего рождения, а возможно, и еще раньше. Но, конечно, он рассчитывал, что разговор этот состоится гораздо позже, когда я пройду бар-мицву – обряд, после которого меня будут считать мужчиной.

Но разговор состоялся неожиданно рано. Я был ребенком и не подозревал, что существует такое чувство, как ненависть. И вот она вторглась в мою жизнь. Отец постарался смягчить потрясение.

* * *

– Знаешь, не думай об этих глупостях, – сказал он мне на следующий день. – Есть люди, которые не любят евреев, болтают о нас неведомо что, смущают народ, хотят, чтобы нас ненавидели.

– А что мы такого сделали, что нас ненавидят?

– Ничего. Ничего мы им не сделали.

⁵ Прикрепляемый к внешнему косяку двери в еврейском доме свиток пергамента, содержащий часть текста молитвы Шма.

– Не любят не на пустом месте.

Отец на секунду задумался, сбитый с толку моим замечанием.

– Это долгая история, – сказал он недовольно.

– Что за история? Какая?

– История ненависти, ревности и непонимания.

Я чувствовал, что отец в затруднении и не знает, с чего, собственно, начать. Потом он сообразил и начал не с самого простого:

– У людей есть существенный недостаток: каждый уверен, что владеет истиной, и хочет навязать ее всем остальным. Человеку нестерпимо знать, что кто-то думает по-другому, по-другому живет. И он начинает сражаться, чтобы заставить весь мир жить его мыслями, разделять его образ жизни, служить его величию.

– Подожди, я чего-то не понял... Я думал, люди идут войной, чтобы забрать чужие богатства.

– Это одно и то же. Желать чужих богатств – значит, думать, что ты их достоин больше других.

– Ну и какие богатства хотят забрать у нас?

Папа вздохнул. Задача, которая стояла перед ним, была необозрима.

– Была одна идея, которая изменила жизнь множества народов, и эта идея принадлежала евреям.

– Что за идея?

– Евреи первыми поняли, что есть только один Бог. И стали бороться с теми, у кого было много разных божеств. Прошло время, и возникли другие религии, тоже исповедующие единого Бога. Распространившись, их приверженцы стали считать своими врагами евреев. Хотели перекрестить их в свою веру или уничтожить.

– А евреи не захотели другой веры?

– Нет, не захотели. Они до сих пор живут, сохраняя верность своей вере. Их преследуют, унижают, уничтожают, но они хранят свою веру.

– Уничтожают? Что значит уничтожают?

– Понимаешь... – замялся папа. – Были разные времена – инквизиция, погромы, холокост. Будешь постарше, все узнаешь.

– А давно это было?

– Холокост? Вчера...

– Как это вчера? – испугался я.

И отец решился. Принял решение. Он встал, подошел к книжному шкафу и взял с полки книгу.

Я не сразу осилил название. Слово было трудное, и буквы пропадали в языках пламени.

Отец открыл толстый том. На первой странице призраки в полосатой одежде уставились на меня страдальческими глазами.

Призраки, которые и сегодня преследуют меня по ночам.

Спешит мужчина в помятом костюме – смерть в газовой камере. Раз. Женщина в белом платочке. Смерть в газовой камере. Два. Молодая женщина с малышом (Господи! Еще и малыш!). В газовой камере. Три и четыре. Все пассажиры автобуса на остановке, человек тридцать, наверное, в газовой камере. Мотоциклист, автомобилисты, все прохожие, что идут мне навстречу. Они все отравлены газом.

Я досчитал до тысячи. Тысячным был мальчуган в песочнице. Больше считать я не смог. Идти дальше тоже, слезы застилали мне глаза. Сколько же дней мне нужно будет ходить по Виллербану, а потом по Лиону, чтобы насчитать шесть миллионов?

Шесть миллионов! Шесть миллионов женщин, детей, младенцев, стариков, отцов, матерей, сыновей, дочерей, дедушек, бабушек. Шесть миллионов лиц, улыбок, взглядов, голосов, прошлого, будущего. Шесть миллионов. Невозможно представить себе величину этой цифры! Посмотреть каждому в лицо, узнать семью, познакомиться с судьбой. Шесть миллионов – это почти бесконечность. Бездна. Бездна и бесконечность для маленького мальчика. Считая прохожих, я пытаюсь добраться до горизонта. Не доберусь никогда.

Я прошел через весь город. Вышел из Виллербана и пошел по бульвару Эмиля Золя, потом по бульвару Лафайет и добрался до полуострова. Вообще-то мне разрешили только перейти через улицу и купить хлеба, но это разрешение меня освободило. Я почувствовал себя свободным. Со вчерашнего дня я очень вырос, повзрослел за несколько минут.

Я не мог стоять возле дома и плакать на глазах у сверстников. Я почувствовал себя совсем другим. Почти мужчиной. Какой мог быть страх? Что могло сравниться с тем ужасом, который я только что открыл для себя?

Я сидел на скамейке в маленьком сквере на площади Белькур. Дети помладше и мои ровесники веселились. Я не был на них в обиде из-за их безразличия к моему горю. Точно так же, как я вчера, они еще ничего не знали и думали, что живут, чтобы смеяться и веселиться.

Сегодня утром, когда я проснулся, душа, вернувшись ко мне, была уже другой. Она отяжелела от судеб многих других душ, которые жили до нее. Миллионов других душ, которые я буду теперь считать до конца жизни.

Мунир

Араб. Четыре буквы, чтобы нас обозначить, выделить, определить, окликнуть. И оскорбить тоже. Четыре. Сакральное число. Основа основ. Равновесие. Земля и дух. Творческое начало. Но где спрятаться от расистских взглядов, которые ищут в нас признаки (генетические?) нашей ущербности, что дает право нас ущемлять?

Быть арабом значит быть «грязным арабом». И быть таким постоянно.

На улице, в магазине, в очереди, выстроившейся в кино. Араб, потому что глаза, жесты, даже молчание говорят об этом. Ты никогда не просто-напросто прохожий, клиент, ребенок. Никому не важно, что ты тунисец, или марокканец, или алжирец. Никому не важно, что слово «араб» ничего не говорит о нас.

Национальность? Араб. Народ со смуглой кожей, черными жесткими волосами, черными глазами. Воинственный, непочтительный, неблагодарный, всегда готовый вцепиться в руку дающего.

Родная страна? Здесь. Там. Во всех концах земли понемногу. Мы захватчики. Сродни тем, которых Дэвид Винсент определял по негнущемуся мизинцу⁶. А наша особенность – большой палец. Он всегда возражает, противится, возмущается. Он как палец Корсики, не дающий покоя попе Франции.

Я марокканец. У меня с другими арабами очень мало общего. Мы не схожи внешне, говорим на разных языках, у нас разные обычаи и традиции. Мы, марокканцы, знаем, что ничуть не похожи на алжирцев, а они не похожи на тунисцев, но для тех, у кого страх отнял рассудок и человечность, подобные мелочи не имеют значения. Мы фоторобот, который создали наспех, собираясь расправиться со «злом». «Да, это он, мсье следователь. Но точно не знаю. Кто их разберет, все на одно лицо!» Нет! Мы не на одно лицо. Мы принадлежим разным культурам, пользуемся непохожими словами, готовим разную еду. «Эй! Кончайте с клонами! Кускус для всех! Йалла, йалла, музыка!»

⁶ В сериале «Захватчики» герой, Дэвид Винсент, узнает инопланетян, решивших захватить Землю, по необычному мизинцу.

* * *

Первое приглашение на день рождения. Как же я намучился! Обычно меня ни к кому не приглашали. И вдруг пригласил Франсуа, самый симпатичный из белых, меньше всех расист, или даже не расист вовсе. Он протянул мне листок бумаги, где были написаны день, час и адрес. А я так давно мечтал посмотреть, как он живет!

Я уже шел к нему и остановился. А что, если взять и не пойти? Оставлю себе подарок, который купила мама, и никто ничего не узнает. Кто меня заставляет проходить через это испытание? Пойду погуляю вокруг небоскребов и вернусь домой. Нет, пожалуй, слишком опасно. У родителей много знакомых, меня могут увидеть, рассказать. И что мне делать с этой маленькой машинкой? У нас никто не играет в такие машинки. Интересно, кто посоветовал маме ее купить? Но самое главное: мне очень хочется узнать, как здесь празднуют дни рождения? Что едят? Я хочу посмотреть, где живет Франсуа. Увидеть квартиру банкира. Посмотреть, какая у них столовая, какие комнаты, какая ванная, туалет – из чисто человеческого интереса к жизни своего одноклассника, с которым вижусь каждый день и которого совсем не знаю. Я хочу познакомиться с семьей, которую так часто себе представлял.

Дом меня разочаровал. Я бы даже сказал, шокировал. Муниципальная многоэтажка. Эти дома только снаружи претендуют на что-то особенное, а внутри то же самое, что и у нас: скучный вход, холодный коридор, ярко-зеленые двери и запах помойки. Я позвонил. Открыла худенькая женщина в бежевом костюме. Она, должно быть, только что улыбалась, и теперь улыбка застыла у нее на лице.

– Ты к кому?

Она надеялась, что я ошибся дверью.

– Я пришел на день рождения Франсуа.

Я произношу «Фронсоа».

Какое разочарование! Значит, вот такая у Франсуа мама, а я-то представлял ее изысканной красавицей! А она урод. Да нет, это я зря, она самая обычная, одна из тех нервных мамочек, которые работают с утра до ночи, без конца курят, глотают таблетки и надеются, что жизнь вот-вот наладится и они все же станут Джекки Кеннеди, а в этой жалкой квартирке они живут временно и вскоре переедут в дом своей мечты. Уродливой она стала от огорчения. Я для нее – новый знак ее неудачливости. Напоминание, что ее сын учится не в элитной школе, что живут они в паршивом квартале.

Франсуа выбегает мне навстречу.

– Привет, Мунир! Это подарок, да?

Он забирает у меня сверток и ведет в столовую. Комнатка маленькая, мебель старая, обои выгоревшие.

Неужели это столовая французов!

Из проигрывателя доносится песня Клода Франсуа⁷ «Как обычно».

Грусть певца, наверное, созвучна настроению мамы моего приятеля.

Остальные ребята уже сидят за столом, уставленным вазочками с печеньем и конфетами. Все чувствуют себя скованно, говорят мало и тихо. Рафаэль мне кивает. Он смущен, как и я. Или тоже разочарован?

– Сейчас мы выпьем лимонаду, потом пойдем во двор и поиграем в футбол. А потом вернемся перекусить и посмотреть подарки, – объявляет радостно Франсуа.

Вот, значит, как празднуют дни рождения французы. Посмотреть бы им на наш праздничный стол! Чего только нет, каких только лакомств на меду, а какие запахи, а красота какая!

⁷ Французский автор и исполнитель, популярный в 1960-х и особенно в 1970-х годах на волне успеха стиля диско.

И все смеются, поют. Конечно, так не каждый день, но на свой день рождения каждый имеет право. И на каждый праздник тоже.

Франсуа разлил нам по стаканам лимонад, и мы выпили его, словно какой-то чудодейственный напиток.

Присутствие матери Франсуа смущало нас — она наблюдала за нами из угла комнаты, — мы старались изображать хорошо воспитанных мальчиков. Франсуа завел разговор о фильме с Джерри Льюисом⁸, который показывали вчера по телевизору. И каждый вспомнил эпизод, над которым особенно смеялся.

— Ну что, пошли поиграем в футбол, — предложил наконец Франсуа.

И все вздохнули с облегчением.

— Можно мне в туалет? — спросил Люсьен.

— Да, в конце коридора.

— И мне. — Я пошел вслед за Люсьеном.

Мне на самом деле вовсе не хотелось в туалет, мне хотелось посмотреть, какая у Франсуа квартира. Пришла моя очередь, и я с любопытством вошел. Надо же! Туалет француза! Крошечная комнатка, слабо освещенная лампочкой. Крышка с трещиной. Коричневый налет в глубине унитаза. Мама бы не пустила в такой туалет ни детей, ни мужа.

Я спустил воду и отправился в ванную. Как они ухитряются мыться в такой маленькой ванне? Плитка выщерблена. По углам потеки от сырости.

Я вышел из ванной и прошел дальше по коридору. Наверное, это спальня его родителей. Поддавшись непреодолимому любопытству, я тихонько вошел в комнату. Спальня настоящих французов. Ничем не отличается от спальни моих родителей. Тоже постель, комод, платяной шкаф. Я услышал, что ребята уже уходят. Мне надо их догнать.

Я повернулся, и сердце у меня замерло.

Передо мной стояла мать Франсуа.

— Что ты здесь делаешь?

Я мгновенно понял, о чем она спрашивает.

Мне захотелось оттолкнуть ее и кинуться бежать, я был перепуган, но страх не мешал мне понимать, что происходит.

— Я... Я ошибся дверью, — пролепетал я.

— Ошибся, значит? Ну-ну! А ну подойди ко мне!

Лицо у нее было недоброе.

— Покажи руки! — скомандовала она и взяла меня за руки.

Ничего не нашла и обшарила мои карманы.

Меня била дрожь. Слезы наворачивались на глаза. А что, если ребята, выходя из квартиры, увидят меня?

Досмотр закончился, мать Франсуа встала, она была очень недовольна.

— Хорошо, что пришла вовремя. Тебе нечего делать в нашей комнате. Марш отсюда! Беги догоняй!

Я послушно направился к двери. И услышал, как она со вздохом сказала мне в спину:

— Араба притащил! Почему сразу не черного?

Я скатился по лестнице через три ступеньки, рискуя сломать себе шею и едва удерживая слезы. На первом этаже вышел не во двор, а на улицу. И побежал. Бежал. Бежал. Слезы застывали на холодном ветру. Я задохнулся и остановился. Настала пора навести порядок в круговерти картинок, которые кружились у меня в голове, сея панику. Пора было их остановить и рассмотреть каждую. Мне пришли на ум слова, которые я должен был бы сказать этой

⁸ Американский актер, комик, режиссер и писатель, прежде всего знаменит своими юмористическими номерами, с которыми выступал на радио и телевидении.

женщине. Я понял, как должен был себя вести, чтобы покончить с недоразумением и выйти с гордо поднятой головой. А я? Я молча убежал. Обиженный, униженный. И тогда я дал себе клятву: никогда никому я больше не позволю так со мной обращаться. И если снова попаду в такую ситуацию, то отвечу. Я буду говорить точно так же, как они, потому что я ничуть не хуже. Сколько же я напридумывал! Нафантазировал! Их квартира? Да моя больше и гораздо чище! Столовая у них хуже, туалет грязнее, ванная старее. И как разобижена на всех эта злая женщина с ввалившимися глазами! Радость вспыхнула у меня в груди, смех прогнал обиду и горе. У араба квартира лучше твоей, уродина! Он тебе не завидует, ему нечего у тебя красть!

Я тогда был ребенком. Не арабом. Любопытным ребенком. Не вором.

Араб. Четыре буквы.

Основа основ.

Любой мусульманин помнит свою первую обиду, первое унижение, первую стычку. У любого иммигранта копится их за плечами множество. Такова неизбежность. Взрыв агрессии – зачастую результат накопленных обид, не раз подавленного гнева. Первая стычка – не просто обмен ударами, ей предшествует непростая история. Драка кажется случайному наблюдателю неоправданной дикостью, но к ней привела долгая дорога.

* * *

Я иду по двору, направляясь к Рафаэлю. Он стоит с ватагой ребят, они делятся на команды, собираясь играть в футбол.

– Грязный крысеныш!

Я спешу, хочу попасть в команду, ругательство пролетает мимо моих ушей. Но раздаётся следующее, и я останавливаюсь.

– Черножопый!

Я оборачиваюсь и вижу Александра и его белокожих приятелей. Они на меня не смотрят, делают вид, что болтают между собой, а сами по-идиотски ухмыляются.

Я в нерешительности, игра вот-вот начнется. Но ухмылка Александра заслуживает наказания. Я не выношу его высокомерного вида, с каким он стоит среди своих подлипал. Он вмиг растеряет все высокомерие, если получит от меня как следует. Я не собираюсь больше терпеть его презрение, насмешки над одеждой, словами, акцентом... Под предлогом игры в футбол я готов был снова опустить голову. Не смей, Мунир! Не будь идиотом! Лицо носильщика на пристани в Марселе, лицо матери Франсуа обожгли меня, как две пощечины. Хватит!

Я снял ранец и направился к Александру, сжав кулаки. Вид у меня был настолько угрожающий, что его приятели подались назад.

– А ну повтори что сказал!

Александр сделал удивленное лицо.

– Кто? Я?

Я знаю наизусть, что обычно бывает дальше: начинается танец трусов, парад блефа. Парни толкаются, хватают друг друга за руки, выкрикивают оскорбления. Ругательства свидетельствуют о силе и мужестве тех, кто никак не может решиться на драку. Бывает и драка, ребята кидаются друг на друга, надеясь, что учительница немедленно их разнимет. Но это не сегодняшний случай, сегодня все по-другому. Ненависть смела страх, который мне всегда внушала сила Александра. Я хочу покончить с его подколотыми насмешками, гадючими подмигиваниями и ухмылками... Он открыл рот, чтобы ругаться, а я его ударил. Кулаком по роже.

Александр пошатнулся от удара, и я наподдал ему коленкой в живот, а потом еще кулаком в плечо. Не больно, наверное, но равновесие он потерял и растянулся на земле. Его приятели бросились на помощь.

Мои тоже подбежали ко мне, среди них Рафаэль. Снова ругань, толкотня, удары. Бой прекратился из-за отсутствия бойцов. Французики разбежались, поближе к учителям. А два учителя, свистя, уже бежали к нам.

Александр лежал на земле, а я стоял над ним, сжав кулаки, пылая гневом.

– Вы все одинаковые! Только и умеете, что оскорблять исподтишка! Вы все трусы! – ору я в раже.

Мадам Желен, наша учительница, смотрит на меня, слышит мои слова. Мне кажется, что со мной все это уже было. В следующий раз, когда я ударю, я тоже растянусь на земле.

Меня ведут в кабинет директора. Все, что известно о нашей драке, говорит не в мою пользу. Кто слышал оскорбления Александра? А мои звенели по всему двору.

Когда я возвращаюсь домой, мама готовит обед на кухне. Я не нахожу другого выхода: мне нужно заручиться ее поддержкой.

Я протягиваю маме дневник. Она смотрит на запись, смотрит на меня и снова на запись.

– Сынок! Ты мне показываешь дневник. Ты разве забыл, что я не читаю по-французски?

Я не забыл, что мама вообще не умеет читать. Но я хочу ей дать понять, что дело обстоит очень серьезно.

– Сынок! Ты что, наделал глупостей?

– Меня исключили из школы.

Сообщая о наказании, я опускаю голову, и на лице у меня еле сдерживаемое отчаяние. Мама тоже приходит в отчаяние, и мне становится стыдно, что я ее так мучаю.

У мамы широко раскрываются глаза, и она хлопает себя по щеке.

– Ой-ой-ой! Исключили из школы! Сынок! Что ж ты такое натворил?! Что же с тобой будет, если школа от тебя отказалась?!

Я молчу, позволяя ей представить своего любимого сыночка нищим, выпрашивающим медяки на кусок хлеба, а потом продолжаю:

– Меня исключили не навсегда. Только на два дня.

Мама вздыхает с глубочайшим облегчением.

– Ох-ох-ох! Как же ты меня напугал!

Она уже готова мне улыбнуться, но вспоминает, что не все так уж у меня гладко.

– Скажи, за что?

Я излагаю ей свою версию событий, нажимая на начало, а не на продолжение, всеми силами изображая себя несчастной жертвой. Мама принимает мои объяснения, ей становится легче, и я чувствую, что не так уж я виноват. Моя версия, во всяком случае, ее устраивает. Я рассказал еще, как мучил меня директор. Поднимал за уши над землей.

Мама снова хлопает себя по щеке. Я принимаюсь плакать, и она сразу же преисполняется ко мне сочувствием.

– Папа меня теперь убьет!

Мама погружается в размышление.

– Знаешь, а мы пока ничего не будем говорить папе. У него и без того много забот. Подпиши сам и спрячь.

Я прекрасно знаю, что для мамы просто нестерпимо скрыть что-то от мужа, но ей хочется защитить меня. Избежать в доме неприятностей.

На следующее утро я встаю, завтракаю, одеваюсь. И как только папа уходит на работу, снова раздеваюсь и ныряю в постель.

Труднее всего уговорить молчать Тарика. За молчание пришлось отдать костяные бабки и еще шарики. Ничего. С каждым сражением я только крепче.

Рафаэль навестил меня после школы. Он так и сияет.

– Ну ты молодец! Влепил гаду. У него глаз распух.

– А что говорят ребята?

– Ребята? Ты теперь герой. Александр обещает, что отомстит. Говорит, что ты застал его врасплох. Но все же видели, как вы дрались.

Мне бы гордиться, радоваться, что повалил силача на землю, посчитался с ним за насмешки, но я переживаю, что учителя и одноклассники-французы теперь будут считать меня психом.

– Сначала ему разбил нос еврей, потом араб. Думаю, мы только укрепили его в расизме, – смеется Рафаэль.

У нас с ним теперь общий враг. В будущем появятся и другие. Новые Александры. Подлые, но по-другому. Расисты, но на свой лад. Жалкие глупцы, трусливые крикуны.

3. Быть непохожим

Рафаэль

– Нечего есть некошерное!

Мамины брови взлетели вверх. Папа удивленно поднял голову от тарелки.

– Да, нечего есть некошерное... дома.

Я счел нужным прибавить это уточнение, чтобы смягчить строгость предлагаемой меры.

Папа вздохнул, давая понять, что он в недоумении.

– Откуда такие строгости?

– Ну-у... Мы евреи, а евреи едят кошерное.

После истории в бассейне и рассказов отца я стал одержим своим еврейством. С высоты девяти лет я с особой строгостью относился теперь к вопросам религии. Этому способствовали и беседы с Джеки, дворовым приятелем, сыном раввина. Вообще-то не знаю, был ли его отец в самом деле раввином, но он так одевался, и Джеки всегда носил кипу и снимал ее, только входя в класс. Джеки был старшим из семи братьев и сестер.

– Тебе нельзя есть некошерное мясо в столовой, – сказал он мне неодобрительно. – Это большой грех.

– Я и не ем свинину, – ответил я.

– Само собой, но в столовой некошерное мясо. Есть его такой же грех, как есть свинину.

– Но... Папа никогда меня не ругал за это.

– Конечно, я понимаю. Но вы евреи, и вам нужно жить так, как живут евреи.

Замечание меня поразило. словно волшебное заклинание, оно сразу заставило меня по-другому посмотреть на привычное.

– Да... Конечно... Но мы чувствуем себя евреями. И живем, как евреи.

Если я и пытался оправдаться, то без большой убежденности. Просто пытался обозначить свою принадлежность, которая от меня ускользала.

Мой ответ его удивил.

– Знаешь, чувствовать себя евреем и жить вне религии это... все равно что считать себя футболистом и никогда не играть в футбол. Понимаешь, что я хочу сказать? Чувствовать себя евреем можно, только постоянно совершая то, что требуется. Быть евреем – значит верить в Бога.

– Я верю в Бога. И мои родители тоже верят.

– Конечно. Но верить в Бога означает еще и почитать Тору. Я как-то видел твоих родителей на рынке. Они покупали кучу запрещенных вещей и собирались праздновать Рождество. Евреи не празднуют Рождество. Евреи такого не едят.

Я остался крайне недовольным нашим последним Рождеством. Бродил вокруг накрытого стола и возмущался родителями и гостями, а они радостно наслаждались запретной пищей. Устроили, так сказать, «день открытых дверей» для всего запрещенного, марафон по нарушению религиозных запретов. Без всякой к тому же кулинарной и гастрономической логики. Все в одну кучу: устрицы, креветки, улитки, паштет из гусиной печени. Все встречалось радостными возгласами. Отказались только от свинины. Вот уж не знаю, по какой причине она подверглась остракизму. Пиршество Гаргантюа и Пантагрюэля с вином и шампанским, а рядом дети, которые смотрят с опаской, как их родители поедают эти странные блюда. А родители, чтобы подавить робкие попытки возмущения старших детей, разре-

шают им есть сколько угодно чипсов, арахиса, жареной картошки с майонезом и сладостей. На следующий день недозволенные празднества продолжаются: мы получаем подарки, как положено послушным маленьким французам.

– Папа вряд ли согласится, – говорю я Джеки.

– А мой папа говорит, что все евреи хотят жить как евреи, надо им только указать путь. – Он ненадолго умолкает и добавляет: – В Торе говорится, что дети приводят родителей на путь религии.

Я стою напротив папы и начинаю сомневаться в справедливости утверждения Торы.

– Спасибо за уточнение, сынок, – говорит мне папа. – А что ты еще от меня потребуешь? Скоро захочешь, чтобы я носил кипу? Отпустил бороду? Одевался в черное?

Я понимаю, что не должен поддаваться на провокацию. Отец раздражен и надеется в маминых глазах прочесть достойный ответ. Мама опускает ресницы, словно советуя ему взять себя в руки и ничего не говорить. Святая женщина! Она знает, что под горячую руку сказано будет слишком много!

Папа встает и выходит из комнаты, с трудом сдерживая гнев.

А на следующий день, вернувшись из школы, я продолжаю разговор с мамой.

– Тебе кажется, что я требую чего-то ненормального? – спрашиваю я.

– Почему? Это естественно. И папа так считает. Но не все так просто. Ты же знаешь, папа не любит, когда ему указывают, что он должен делать. Поэтому не возобновляй с ним этого разговора. Я сама поговорю с ним и постараюсь его убедить.

– Но если ты со мной согласна, почему сама на этом не настаивала? Ведь все это настоящий грех.

Мама ерошит мне волосы.

– Кошерная пища, грех... Ты пока сам не знаешь, что это такое. И мы тоже толком не знаем. Скажу тебе только одно: когда мы едим что-то недозволенное, нам всегда не по себе. Могу тебе сказать, что на один вечер мы попытались забыть, кто мы такие. Примерить на себя чужую жизнь. И вот наш сын показал нам нашу глупость.

Я повторяю маме сказанное мне Джеки о долге детей перед родителями. Мама ласково мне улыбается и обещает непременно сказать об этом папе и постараться его убедить.

Мунир

До сих пор моя причастность к религии сводилась к одному-единственному запрету: нельзя есть свинину. Правда, во Франции и этого запрета достаточно, чтобы чувствовать себя не как все. Я не думал, мусульманин я или не мусульманин, я жил в Марокко, я был марокканцем. И религия оказалась в том самом чемодане, который остался в Марокко, как ненужный для нашего будущего. Но когда мы жили на марокканской земле, религия была неотъемлемой частью нашей жизни, частью природы, частью экосистемы. Мы вдыхали ее с воздухом, жили в ее ритме, слушая лепет сур, растворяющийся в теплом ветре. Марокканец и есть мусульманин. Мусульманин и подданный короля, это у марокканцев врожденное. И если вдруг иной раз морской ветер приносил к нам на пляжи песню свободы, мы едва слышным шепотом, опустив голову, осмеливались критиковать установленный порядок. Критиковать кого? Бога? Короля? Никогда в жизни! Равно как и тех, кто их представляет, и законы, порядки, несправедливости, которые в наших глазах стали причиной наших трудностей.

Приехав во Францию, мы почувствовали себя свободными от привычного уклада, захотели стать гражданами, сделаться французами. За пределами Марокко власть короля на нас больше не распространялась, хотя мы все-таки ощущали на себе ее влияние. А вот от Бога никуда не уйти, пусть обряды и уклад ислама словно бы подернулись дымкой. Исчезли мина-

реты, вязь надписей, яркие цвета Востока... Религия затаилась внутри нас. Она питала нашу душу энергией, достаточной, чтобы жить привычными ценностями. Превратилась в ток слабого напряжения с редкими разрядами. У родителей ток был, конечно, более сильным. И конечно, они ощущали себя виноватыми, хотя отделились от своей веры только на время. Люди их поколения закрывали глаза и открывали сердце, как только к ним приближалась святость. Любое слово против Бога или короля считалось кощунством, которое может навлечь проклятие на всю семью. Политика, религия, суеверия смешались воедино, и мы пили это, словно целебный бабушкин отвар. Рецепт неведом, но ведома мудрость предков, желавших, чтобы мы избежали злой судьбы, болезней и смерти.

Переехав, мы отложили на время свое мусульманство, желая осмотреться и обжиться.

Даже в мечеть мы ходили редко. Небольшая квартирка, ставшая домом молитвы, наполнялась только по пятницам и праздничным дням. Два или три раза я ходил туда вместе с папой, и с первых же минут меня поразила ревностная истовость молящихся. Что это за удивительная сила, способная так захватить людей и поднять их так высоко? Для папы и многих других мусульман время молитвы становилось временем встреч. Взрослым людям нужно повидаться друг с другом, потолковать, вместе повспоминать былое.

Как мучительно раздвоение – постоянно принуждать себя быть каким-то совсем другим и в то же время стараться оставаться самим собой. Самыми сильными среди нас были те, кто, казалось, сумел примирить и свое и чужое: всю неделю ходили в европейском костюме, а национальную одежду надевали в пятницу вечером; говорили по-французски без всякого акцента (кое-кто верит, что такое возможно!), а вечером по-арабски, с широкой улыбкой, показывая золотые зубы.

Все покачивают головами, выражая свое восхищение, с завистью разглядывая складки праздничного наряда старшего мастера, который получает чуть больше, чем все остальные. Если приглядеться к этому праздничному костюму, то обнаружится грубый ручной шов, обвисшие шаровары, слишком короткие рукава кафтана, пожелтевшая рубашка. Но кому охота приглядываться?

Мусульманину хочется шагать прямо, смотреть гордо, носить красивый костюм, выговаривать сложные слова без акцента, вызывать восхищение своей красотой. И любой из нас верит, что достаточно хорошенько почувствовать Францию, пить ее, есть, и, когда все поры нашей смуглой кожи будут источать ее, кожа посветлеет и нас примут. Но это иллюзия. Теперь я знаю это твердо. Сколько бы мы ни старались, все будет мало.

Рафаэль

Загород! Поехать за город – да это же чудо какое-то! Своим наваждением я доставал родителей по утрам в воскресенье, когда наш квартал, не желая просыпаться, объявлял, что этот день он посвящает счастливой праздности.

И что это – «загород», куда толпой устремляются французские семьи, чтобы замечательно провести там воскресные дни? У каждой семьи свой загород? Или он один на всех, и там все встречаются, отдыхают и наслаждаются красотами природы?

– Папа, почему мы никогда не ездим за город?

– За город?

Папа на секунду оставляет газету и окидывает меня недовольным взглядом.

– Да, за город! Там полно зверюшек, там цветы, их можно собирать бесплатно! У нас все в классе ездят за город!

– Да, я знаю, ты мне уже говорил. Но у всех в классе есть домик за городом, или они навещают бабушку с дедушкой. А мы куда поедem? Повидать дедушку и бабушку? Так они живут на соседней улице.

Отец улыбается, довольный своей отповедью, и снова погружается в газетный калейдоскоп событий. Я так до конца и не понял, зачем ему нужен был этот калейдоскоп. Он радовался, что всевозможные неприятности обошли его стороной? Или старался лучше понять Францию, знакомясь с всевозможными отклонениями?

– Есть загород и для тех, у кого нет ни дома, ни родни, – вступает в разговор Жюльен, мой союзник по доставанию родителей. – Туда ездят, просто чтобы провести воскресенье.

– Хватит, дети. Я читаю газету. Идите во двор и поиграйте.

– Ага, поиграйте! Ты всегда читаешь газету или спишь! А нам скучно в этом паршивом дворе!

Похоже, братишка немного перегнул палку.

– Я работаю шесть дней в неделю как каторжный! И в воскресенье имею право отдохнуть! – взрывается отец.

Думаю, что Жюльену дорог не загород, а наше противостояние. Он никогда не говорил мне, что мечтает поехать в деревню. И двор наш мы вообще-то очень любим.

Мою страсть к загороду разжигают рассказы сверстников в понедельник утром. Коровы, лошади, куры, долгие прогулки в лес за грибами, малина, черная смородина, из которых варят варенье. Счастье кажется таким простым, таким доступным. Быть французом значит проводить воскресенье за городом.

Но дело не только в этом. Каждый понедельник, когда учительница просит принести в класс листья, цветы, шишки или еще что-то загородное, чего днем с огнем не найдешь на нашей улице, сердце у меня сжимается, и я вижу папу, который дремлет перед телевизором, опустив на колени газету. И в моей душе загорается гнев, и гасит его совсем другая картинка: папа ворочает баки с грязным бельем, вытирает пот, работая на гладильной машине. Мы купили прачечную, и папа изнашивает свое здоровье в жаре и парах перхлорэтилена, получая минимальный доход, потому что рядом открылся пункт сетевой чистки и услуги там дешевле.

И тогда мой гнев обрушивается на дуру учительницу, которой дела нет до того, что большая часть учеников в ее классе понятия не имеет, что такое загород.

И вот у меня два решения проблемы: или облазить весь квартал в поисках драгоценных даров природы, сумевших выжить в городских условиях, или выменивать их у счастливиц на наклейки, шарики и другие ценимые нами вещи.

Но мне больше не хочется прибегать к этим крайним средствам. У меня созрел план.

– А ты что принес, Рафаэль?

В руках пусто, в ранце тоже. Доказательство преступной лени налицо. Такого спускать нельзя. Наказание: написать пятьдесят раз «Я участвую в работе в классе, я приношу на урок листья и цветы из загорода». Вообще-то мне велено написать только первую часть этого предложения, вторую я добавил сам, в надежде, что она мне поможет. Учительница не пожалеет о моем приливе рвения.

Я написал предложение пятьдесят раз и отправился к папе за подписью. Главное: полное спокойствие, никаких опасений, расстроенное лицо.

Отец, прочитав все пятьдесят строчек – как будто там могло появиться что-то новенькое! – реагирует так, как я предполагал: он в недоумении, огорчен и прячет свое огорчение за притворным гневом.

– Опять наказан!

Тут папа преувеличивает. У меня это всего-навсего второй случай, до привычного еще далеко.

– А где я их найду, эти листья? На балконе, что ли?

Папа хочет ответить, но ничего достойного ему в голову не приходит. Он в ловушке. И, естественно, возмущается.

– Ну и дела! Мне кажется, твоя учительница не имеет права распоряжаться моим свободным временем! Я напишу ей записку, выскажу свое мнение!

Караул! Непредвиденный поворот событий! Учительница ответит чистую правду: «Рафаэль должен был принести несколько листочков, сорванных в сквере». Нужно срочно ответить. Они не должны вступить в переписку!

– Не стоит, папа! Она только рассердится на меня. Она сказала, что мы могли бы поехать совсем близко, всего за несколько километров. Да и вообще она обойдется без подписи.

Я хватаю тетрадку и убегаю к себе. Боюсь, что папа меня окликнет, остановит. В ожидании задерживаю дыхание. Нет. Ничего. Я бросаюсь на кровать. Нужно успокоиться и обдумать свой провал.

Но мой план все-таки сработал.

В следующее воскресенье папа утром объявляет, что мы едем на пикник. За город.

Он разгадал мой план? Простил меня? Да ладно, не важно! В путь! Навстречу приключениям!

Мы все уселись в наш «Пежо 504». Мама взяла с собой завтрак – думаю, его хватило бы на целый летний лагерь. Мама очень не любит, когда нарушается привычный порядок дня. Но наш восторг примиряет ее с нарушением.

– Ну, ладно... Загород... А где это?

Все молчат.

– Рафаэль, куда ездят твои одноклассники?

Опять молчание.

– Не знаю. За город. Куда еще?

Папа ворчливо объявляет:

– Едем в сторону Вильфранш, там вроде зелено. Потом посмотрим.

Сердце мне сжимает тоскливое предчувствие. А что, если у нас ничего не выйдет? Что, если мы останемся в дураках? Разве есть указатели, на которых написано «Загород»? Нам что, трудно было разузнать о нем заранее?

Мы выезжаем из Вильфранша и едем узкими дорогами среди зеленых полей и пышных виноградников. Слева от меня Жюльен уткнулся в окно. Справа Оливье напевает песенку из «Белль и Себастьян»⁹.

Папа нервно переключает скорости, вперившись в горизонт. Мама ласковым голосом подсказывает:

– Может, свернем направо? Поедем по этой дороге, здесь, мне кажется, очень загород.

Папа в ответ что-то ворчит и в конце концов останавливается у обочины.

– Думаю, приехали, так ведь? Можем тут расположиться и поесть на травке! Не ехать же целый день!

Мы оглядываемся. Зеленые поля и деревья насколько хватает глаз.

– Да нет... Я так не думаю. Здесь ни коров нет, ни лошадей...

– Даже ни одного петуха и курицы, – добавляет разочарованный Жюльен.

– Нет уж, дети! Мы за городом. Это очевидно. Кругом природа. Хоть два грузовика набивай листьями. А что до коров, так они, наверно, домой вернулись.

– Куда домой? Здесь и фермы нет. Нет, это не загород, – твердо заявил братишка.

⁹ Фильм Никола Ванье (2013) – история собаки по кличке Белль и мальчика Себастьяна.

– И выехали мы совсем недавно. Может, стоит еще проехать? – Мое предложение звучит крайне осторожно. Папа может взорваться и вообще повернуть домой. А представить себе, как мы, сидя в машине, едим бутерброды... Нет, это выше моих сил!

– А что, если спросить у кого-нибудь дорогу? – Мама, как всегда, попыталась исправить ситуацию.

– И что мы спросим? Скажите, как проехать загород? И у кого? Здесь, как видите, ни души, – сердито отозвался папа.

– Давай кого-нибудь найдем. Местные жители нам скажут, где можно устроить пикник, – примирительно предложила мама.

Папа ворчит. Мама говорит разумно, но ему не нравится. И все-таки мы снова пускаемся в путь, ищем местных жителей.

Через несколько километров папа заметил домик и старушку, сидящую на стуле возле крыльца.

Мы остановились, мама опустила стекло.

– Добрый день, мадам, мы ищем место, чтобы устроить пикник...

Старушка разевает рот и хохочет. Во рту у нее торчат несколько жалких черных корешков. Вряд ли такими можно жевать. Маму, похоже, напугало это зрелище, губы у нее брезгливо кривятся. Старушка бормочет что-то непонятное и машет рукой, показывая, куда ехать.

– Жак, поехали! У нее слюна изо рта течет, – шепчет мама.

Она скоренько благодарит старуху и поднимает стекло.

– Нам туда, – прибавляет она. – Она показала в ту сторону.

– А мне показалось, что она нас не заметила, – проворчал отец себе под нос.

Жюльен, который махал, прощаясь, старушке, поворачивается к нам.

– А что у нее во рту? – поинтересовался он встревоженно.

– Почти ничего. – Отец расхохотался так громко, что мотор стало едва слышно. И мы тоже вслед за ним стали смеяться, радуясь, что так неожиданно спало напряжение.

Папа передразнивал старушку, и мы просто падали от хохота – не так уж часто наш вечно хмурый и озабоченный чем-нибудь отец валял дурака.

Вскоре мы заметили небольшую площадку и на ней несколько машин.

– Должно быть, приехали, – успокоившись, объявил папа.

Среди деревьев зеленела лужайка, несколько семей завтракали, сидя вокруг раскладных столиков или на подстилках. Мы тоже остановили машину.

Папа достал из багажника пластиковые пакеты с завтраком. И мы сразу замечаем недостатки своей экипировки – у нас не было ни корзинки, ни сумки-холодильника. Гора еды на пакетах выглядела совсем не так аппетитно, как в аккуратных фирменных контейнерах у соседей.

Папа ел и с деланным восторгом любовался окружающей зеленью. Похоже, он чувствовал, что все на него смотрят, и старался выглядеть как можно более выигрышно и уместно.

– Чудные деревья, – говорил он, покачивая головой. – Красивы на удивление. Сорви несколько листочков для учительницы. И скажи, как это дерево называется. Наверняка ты знаешь. Ты же такой хороший ученик!

Я не решался поднять голову, не хотел видеть папину улыбку. Он что, не может спокойно есть, как другие, и говорить потише?

Еда была мне не в радость. Я автоматически проглотил все, что протянула мне мама. У меня паранойя, мне кажется, все на нас смотрят. Любой смех – насмешка над нами, тихий разговор – осуждение.

А подняв голову, я обнаружил, что соседи не обращают на нас ни малейшего внимания, им до нас не было никакого дела.

– А что, если мы немного пройдемся? – предложил папа. – Поможем пищеварению?

Мы поднялись, озираясь. Куда отправиться? Войти в лес? Пойти по лугу?

Отцу хотелось в лес. Когда мы отошли подальше от лужайки, он наклонился к маме и сказал:

– Ты видела? Здесь хорошее общество. Люди не бедные. У них красивые машины, костюмы для уик-энда, оборудование для пикников. Надо сюда приезжать почаще.

Через четверть часа мы вернулись к нашему «Пежо 504».

– Домой? – поинтересовался Жюльен.

– Нет, отдохнем еще немножко, – отозвался папа. – Можете поиграть, подышать свежим воздухом и не забудьте набрать листочков.

Он улегся на подстилку и мгновенно уснул, мама сидела и листала журнал, а мы с Жюльеном отправились изучать окрестности и набивать сумку ненужными богатствами. Мы это делали уныло. Какое разочарование! И это загород? Никаких ферм, зверушек, фруктов. Ребята над нами посмеются, и только.

Папа проснулся скоро, и вот уже все семейство уселось в машину, купленную по случаю и успевшую намотать немало километров.

На обратной дороге все старались скрыть свое разочарование. Мы с Жюльеном смотрели в окна, Оливье напевал, мама подпиливала пилочкой ногти.

– Ну, что, ребятки? Понравилось? – нарочито весело осведомился папа. – Если повезет, снова навестим мадам Колгейт.

Он засмеялся, мы тоже, но всем нам было не слишком весело.

Мне даже захотелось извиниться, что из-за меня мы так провели воскресенье.

– Который час? – спросила мама.

– Половина четвертого. Если повезет, еще успеем посмотреть скачки.

– Хотя бы на лошадей посмотрим, – пробормотал Жюльен, не отрывая взгляда от окна.

Мунир

Я любил Рождество и побаивался его.

Музыка, огни, запахи... Ощущение праздника. Радостно видеть иллюминацию на улицах, разукрашенные витрины, улыбающихся прохожих. А если еще и снег выпадал, то привычная будничность вообще исчезала и мы оказывались в волшебной стране мечты. Белые воздушные хлопья обладали таинственной силой, они уничтожали едкие городские запахи, прижимали их к земле, позволяя праздничным ароматам мягко витать в воздухе. И вот в воздухе смолисто пахло хвоей, жареными каштанами, а еще особым запахом дорогих магазинов – тканями и кожей. Всевозможные ароматы щекотали нам ноздри, заполняли легкие, проникали в сердце. Магия Рождества.

Мальчиком я жил с широко открытыми глазами, впитывал все звуки, все запахи. Но где-то глубоко внутри осуждал себя, одергивал. «Закрой рот, осел! Не выставляй себя на посмеище! Это все не для тебя! Тебя не обмануть! Не поддавайся!» Волшебник ворожил для аккуратных, хорошо одетых детей, они сидели в зале и, улыбаясь, участвовали в представлении. А я сидел на мостках за кулисами и понимал, что разыгрывается комедия, всенародный фарс. Все понарошку: Дед Мороз, гигантские елки в магазинах, неожиданное добродушие прохожих... Все вместе вселенское надувательство. Но я отдал бы все на свете, лишь бы тоже сидеть в зале, позволять себя дурачить, вешать себе лапшу на уши и чувствовать себя таким счастливым, хлопать в ладоши, смеяться и кричать так же простоудушно, как они.

В школе тоже устроили рождественский праздник. Детсадовская малышня, страшно довольная, что ей позволили побывать у «больших», в этой земле обетованной, куда и они, став взрослыми, непременно попадут, украсила наш двор и коридоры.

Перед каникулами нам устроили угощение и игры и, перед тем как распрощаться, пожелали хороших праздников.

– Счастливого Рождества, Мунир!

– Спасибо, мадам. И вам счастливого Рождества!

Она смотрела на меня и улыбалась! Вот дура-то! Идиотка! Или она не хотела заметить, какие мы разные? И как это можно не заметить? Я же не праздную Рождество. У меня не будет счастливых праздников. Если бы вы чуть-чуть поинтересовались мной, прежде чем высказывать свои пожелания и улыбаться, вы бы знали об этом. Арабы не празднуют Рождество. Им нет дела до младенца Иисуса. Да, о нем упоминается в Коране, но дня его рождения они не празднуют. Моя мама готовила когда-нибудь праздничный кускус 24 декабря? Да никогда в жизни. 24 декабря мы едим картошку, рис или еще что-нибудь из самого обыкновенного. Смотрим телик и неловко улыбаемся при каждом упоминании о чудесной Рождественской ночи. А когда начинается праздничная месса, отправляемся спать. И вполне возможно, у меня закапают слезы (от огорчения или от зависти?), когда я представлю себе, как укладываются спать другие дети: у них сейчас полно сладостей, и они мечтают о всевозможных подарках, какие получают на следующий день. Да, мадам, я точно поплачу. Поплачу, потому что я еще маленький, а маленьким всегда хочется праздников и подарков. На следующий день я буду смотреть на счастливых мальчишек, которые высыпали на улицу с новыми кожаными мячами, велосипедами, роликами. У меня нет велосипеда. Я посмотрел, сколько он стоит, и теперь знаю точно, что завтра папа его мне не купит. У меня пластиковый мяч, он улетает при каждом порыве ветра. Попробуйте отправить его в цель. И ролики у меня такие старые, что совсем заржавели. Я истер подошвы, когда пытался на них кататься.

Не надо желать мне счастливого Рождества. Я неплохой актер, мне удастся не показывать горя, когда надо мной насмеются, изображать равнодушие, когда отгоняют взглядом. Но с рождественскими праздниками я не справляюсь. Они даются мне очень тяжело, у меня не получается притворяться. Не получается изображать довольную улыбку маленького француза.

Некоторые мусульманские семьи устраивают праздник на Рождество. Но мы не из их числа. Евреи – те, что не слишком религиозные – тоже празднуют. А еще те, что хотят играть во французов. Рождественское полено, индейка (кошерная?), подарки. Смешные люди! Разве можно забыть, кто ты на самом деле? Но потом я им позавидовал. Почему бы и нам не поступать, как они? На один этот вечер тоже устроить себе праздник. Конечно, без яслей, младенца Иисуса и елки, просто вкусный праздничный стол. И какие-нибудь подарки. И еще картонные трубочки, они называются хлопушки. Разве нельзя? Нет, нельзя, я знаю. За таким столом папа не сможет на нас смотреть. Ему будет стыдно, что мы радуемся. Его желание жить как французы не беспрельдно. Когда он приносит рождественские подарки со своего предприятия, то просто ставит их на стол. Мы видим, как гордо вспыхивают его глаза, когда мы бегаем по квартире в масках и с пистолетами, ему приятно, что он работает на серьезном заводе, где человеку умеют оказать внимание. Но корзинку с продуктами папа относил консервкам. Мы пытались объяснить, что в маленькой коробочке гусиный паштет, а не свиной, но папа говорил: «Нет, нет и нет. Это сплошные отбросы!» Хорошо, если бы наша щедрость пробудила к нам симпатию у месье Лепика и его жены, алкоголички-зануды. Но я уверен, что они над нами только посмеялись – над нами и нашей идиотской щедростью.

Рафаэль

Я пришел в столовую, сел за стол *«для детей, которые не едят свинины»*. Рядом со мной одни мусульмане. Мунир мне очень обрадовался. Уверен, обрадовался, потому что мы с ним опять вместе не такие, как остальные, но он свою радость объяснил совсем по-другому.

– Вот увидите, Рафаэль рассказывает такие интересные истории! – объявил он своим друзьям, которые смотрели на меня недоверчиво.

Да, я хорошо рассказываю, у меня талант. Могу говорить о чем угодно: пересказать фильм, который вчера видел, рассказать анекдот или в лицах поведать о том, что со мной случилось на каникулах. Могу, ни слова не привирая, рассказать друзьям о нашем общем приключении так, словно они в нем не участвовали или не поняли, в чем была суть.

В тот день, как раз когда мы ели мясо, я пересказывал самый смешной эпизод из «Жандарма из Сен-Тропеа» с Луи де Фюнесом. Конечно, мы все этот фильм смотрели и рады были снова повеселиться. Смеялись даже громче, чем перед телевизором. Очень громко смеялись. И дежурный воспитатель разозлился:

– Эй, вы, касба!¹⁰ Замолчите!

Эффект был мгновенным. Все замолчали.

Я терпеть не мог этого воспитателя. Тощий, плюгавый урод в джинсах-клешах, утравивший малышня походкой вразвалку и ковбойскими сапогами. Он подлым образом отыгрывался на нас за свою уродскую внешность, ухитряясь кого-то пнуть острым носком сапога. Его прозвали Стервятник за жесткий взгляд, острый нос и готовность налететь на слабого, когда никто не видит.

Муниру трудно было сдержаться, он зло посмотрел на Стервятника.

– Что с Мухаммедом? У него проблемы? – задал тот вопрос.

– Меня зовут Мунир, а не Мухаммед.

– Есть разница? – с усмешкой спросил Стервятник и уселся за преподавательский стол.

– Вот урод! – не выдержал я.

Мунир взглянул на меня и пожал плечами.

– Слушайте! А ведь он немного смахивает на Фюнеса!

Мы все рассмеялись.

Я посмотрел на кусок мяса, который мне положили на тарелку.

– Кто хочет мою отбивную?

– Это не свинина, ешь, пожалуйста, – сказал маленький Али, распахнув огромные темные глаза.

– Я знаю, но мне нельзя и такого мяса.

– Что за новости? – удивился Мунир. – Ты же до сих пор ел мясо!

– А теперь больше не ем.

Жюльен застыл с вилок у рта. Потом, нахмурившись, положил вилку на тарелку.

– Мы теперь больше не едим мяса? – спросил он огорченно.

– Я не ем некошерного, – ответил я. – А ты как хочешь. Кто-то хочет мою отбивную?

Через секунду поднялись две руки. Я пододвинул свою тарелку. Жюльен, колебавшись, пододвинул с глубоким вздохом свою. Когда Али и Лагдар перекладывали наши отбивные к себе на тарелки, раздался громкий голос, от которого все мы вздрогнули:

– Это что еще за торговля?

Стервятник стоял позади нас, сложив на груди руки, ухмыляясь недоброй усмешкой.

– Я... Мы не едим мяса, – ответил я, стараясь выдержать взгляд этого эсэсовца.

– Насколько я знаю, это не свинина.

Я почувствовал, что сейчас разразится скандал, и внутренне напрягся. Я не собирался сдаваться.

– Да, но это мясо не кошерное, я еврей и...

¹⁰ По-арабски «крепость», «старый город».

– Мне плевать, кто ты, араб или жид! У меня нет распоряжения от твоих родителей. И ты доставишь мне удовольствие и немедленно стрессаешь это мясо. А ну перекладывай себе на тарелку! И мелкий сопляк тоже!

Али и Лагдар успели переложить мясо обратно.

– Имейте в виду, я слежу за вами! – объявил Стервятник и вернулся на свое место.

Я уткнулся носом в тарелку, чувствуя, что киплю от гнева.

Мы все словно окаменели. Только Жюльен взялся за нож с вилкой, чтобы отрезать себе кусочек мяса.

– Раз уж велели, – пробормотал он.

В тишине, которая царила за нашим столом, нож Жюльена буквально завизжал, коснувшись тарелки, и мой маленький брат положил его, покоровшись неизбежности, которая мешала мясу попасть ему в рот. Он положил и вилку и уставился на меня, ожидая, что я скажу.

– Он назвал нас жидами, – проскрипел я сквозь стиснутые зубы.

Я не знал, обидное ли это слово, но чувствовал: нас оскорбили. Злобный взгляд Стервятника, его ухмылка – все говорило, что он хочет нас унижить. Слезы закипели у меня на глазах, горло перехватило. Но я не хотел разреветься, как девчонка, перед своими товарищами. Я искал другой возможности выплеснуть обиду и гнев.

– Да, он так сказал, – подхватил Али, думая, что я задал вопрос.

– А что такое «жид»? – спросил Жюльен.

– Тоже еврей, но как обидная кличка, – объяснил Мунир.

И тогда, сопровождаемый взглядами своих замеревших на месте товарищей, я встал и направился к столу, за которым обедали два воспитателя и учителя.

Я остановился возле Стервятника, тяжело переводя дыхание от ярости и страха. Стервятник меня заметил не сразу, но мое появление обратило на себя внимание учителей, и они замолчали, вопросительно глядя на меня. Стервятник поднял голову от тарелки и обнаружил, что я стою рядом, мрачно на него глядя и тяжело дыша.

– Чего тебе тут понадобилось? – удивился он.

– Вы не имеете права называть меня жидом!

Губы у меня прыгали, но говорил я твердо.

Стервятник слегка опешил. Две учительницы за столом нахмурились и вопросительно на него посмотрели.

– Не говорил я ничего такого. Сказал, чтобы ел мясо, только и всего! Нечего выдумывать, лишь бы настоять на своем! А ну шагай на место! Быстро!

– Вы сказали «жид». Я слышал. И все остальные тоже слышали.

Воспитатель засопел и прикусил губу. Потом резко поднялся.

– А с каких это пор встают из-за стола без разрешения?

Он взял меня за плечо, подвел обратно к столу, посадил, грубо нажав, и сказал:

– Не думай, что я потерплю твои шуточки! Вернись через пять минут и советую вам с братом очистить свои тарелки. – И, наклонившись, добавил мне на ухо: – Понял, жиденок?

Безгубая улыбка, показавшая острые неровные зубы, играла на лице садиста.

Я сидел, опустив голову. Внутри у меня все сжалось. Я не знал, чего хочу – заорать, драться или заплакать. Все вместе одновременно.

– Плюнь на него, Раф. Ты же видишь, он ненормальный.

Я поднял голову и взглянул Муниру в глаза. Я видел, он тоже разозлился, но не хочет доводить дело до скандала.

– Он гад, не обращай внимания.

– И что? Ты на моем месте съел бы это мясо?

Голос у меня от напряжения стал тонким.

Мунир передернул плечами. И я не понял: то ли он хотел сказать, что не знает, то ли что мне лучше послушаться...

Я сидел и молчал. Жюльен вертелся на стуле, он тоже пришел в возбуждение и не знал, как себя вести.

– Он гад, гад, гад, – настойчиво повторял братишка.

– Он еще смотрит на меня? – спросил я Мунира.

Приятель взглянул мне через плечо.

– Нет, он снова сел за стол.

– Скажи, когда не будет смотреть.

– Сейчас. Он говорит с другим воспитателем.

Я быстренько вытащил из кармана платок, завернул в него отбивную и спрятал обратно в карман.

Ребята за столом удивленно смотрели на меня. Их восхищало мое мужество, мое упорство. Общее наше возбуждение достигло крайней точки.

– Не теряй времени, делай, как я, – сказал я Жюльену.

Братишка набрал в грудь воздуха и принялся шарить по карманам в поисках платка, всем своим видом показывая, что готов на мужественный подвиг. Но после безуспешных поисков объявил с расстроенным видом:

– Нет у меня платка.

– Возьми мой! – предложил Али и бросил Жюльену смятый комочек.

Жюльен презрительно взял его двумя пальцами.

– Он же грязный.

– И что? У меня насморк, – объяснил Али. – Ну, ты даешь! Я тебе помочь хочу, а ты недоволен.

Братишка взглянул на меня, ища помощи.

– Шевелись быстрее!

Жюльен развернул платок с присохшей слизью и быстренько завернул в него кусок мяса.

Застыл на секунду, потом спросил с беспокойством:

– А если он догадается и заставит нас есть?

Я представил себе несчастного Жюльена, который разворачивает грязный платок и вынужден положить себе в рот его содержимое. Мне стало дурно.

– Постараемся, чтобы не догадался, – пообещал я.

– Бифштекс с соплями, – засмеялся Али.

Стервятник через несколько минут наклонился над нашими тарелками и довольно улыбнулся.

– Так и надо! Мясо-то вкусное!

Я молча смотрел на него. Жюльен тоже не струсил.

– Я тебя научу опускать глаза, когда я с тобой разговариваю! И тебя тоже, сопляк! Нет! За кого вы себя принимаете? Подойдете ко мне после обеда. Я с вами разберусь!

Приказ нам не понравился. Мы почувствовали: объявлена война.

– Нужно скорее избавиться от мяса, – сказал Тарик. – А то он заметит.

Жюльен встал, делая вид, что хочет налить себе воды из кувшина.

– Заметно? Очень? – спросил он Мунира.

Мунир посмотрел и увидел на брюках Жюльена большое жирное пятно.

Ну, дела! Только этого не хватало!

– Вот зараза!

Все перевели глаза на меня. У меня тоже наметилось пятно, но поменьше и не такое заметное.

– Бегите в туалет, там все скинете в унитаз, – посоветовал Мунир. – Только сначала попросите разрешения у другого воспитателя.

Воздух наэлектризован. За нашим столом мы стали героями из фильма «Большой побег»¹¹, все сплотились против врага и боимся, как бы наш подземный ход не был обнаружен.

Я отправляюсь в туалет, делю мясо на кусочки и спускаю.

Теперь очередь Жюльена. Он возвращается, на лице у него беспокойство.

– Я бросил, а оно не проходит.

– Бросил целиком?

– А что?

– Бестолочь! Нужно было разделить на кусочки! Или бросить в мусорную корзину.

– А ты почему мне не сказал?

Мы переглядываемся, соображая, что делать.

– Успокойтесь, – говорит Мунир. – Пока вы будете говорить с воспитателем, мы что-нибудь придумаем.

И мы вправду успокаиваемся.

– А где мой платок? – спрашивает вдруг Али.

– Вот он, – отвечает Жюльен и достает грязный жирный комочек, на который мы все смотрим с отвращением. Али берет его, смотрит, разворачивает, потом аккуратно складывает и прячет в карман.

– Что-то случилось? – спрашивает он, глядя на наши удивленные лица.

После сладкого, когда все направились к двери, Стервятник окликнул нас:

– Вы, двое, задержитесь. Есть разговор.

Толпа ребятишек устремила во двор. Столовая опустела, и вдруг мы увидели Александра: он вернулся и подбежал к воспитателю, на ходу посмотрев на нас и торжествующе улыбнувшись. Я мгновенно все понял: во время обеда Александр за нами следил. И пока нас чихвостили, он с приятелями был в восторге.

У дверей появился Мунир – стоял, опустив руки, и всем своим видом показывал: ничего не получилось, он опоздал.

Стервятник встал и вышел из столовой. Ясное дело, в туалет.

– Он на нас донес, гадина!

Перепуганный Жюльен принялся тереть рукавом жирное пятно на брюках. Воспитатель вернулся и в ярости набросился на нас.

– Это ты выбросил бифштекс?! – заорал он на брата, продолжавшего тереть рукавом пятно.

– Не я!

Стервятник уставился на пятно на моих брюках. Как он улыбался! Точно садист, и его садизм можно было пощупать. Все преподаватели ушли пить кофе, и теперь он здесь был главным.

Он схватил меня за ухо и притянул к себе.

– А ну пойдем со мной! Сейчас ты все у меня там вычистишь! – И вывел меня за ухо из столовой.

Боль – пустяк по сравнению с обидой и унижением, от которых у меня разрывалось сердце. Я, как мог, старался вырваться из его железных пальцев, неуклюже отбивался. Стервятник, придя в ярость, схватил меня за волосы.

¹¹ Фильм американского режиссера Дж. Стерджеса (1963) о побеге военнопленных из немецкого лагеря во время Второй мировой войны.

– Ты что, драться со мной будешь? Драться, да? Думаешь, имеешь право хвост поднимать, грязный жиденок?

Он отвесил мне пощечину. И еще одну. Если бы он не держал меня за волосы, я бы свалился на пол.

Невольно я замычал от боли, у меня вырывалось что-то вроде всхлипа. Жюльен бежал за нами, со слезами крича:

– Не троньте моего брата! Не смейте его бить!

Воспитатель его не слышал. Он тряс меня изо всех сил, и я в его руках болтался, как тряпичная кукла.

– Думаешь, можно делать из меня идиота?!

– Отпустите его! Отпустите! – надрылся Жюльен, пытаюсь схватить меня и притянуть к себе. Из-за слез, из-за дрожи страха, которая его била, словно в лихорадке, было трудно понять, что он кричит. В отчаянии брат бросился на Стервятника и начал бить его ногами по икрам.

Стервятник отпустил меня, схватил Жюльена и принялся яростно хлестать его по щекам. Голова у меня пошла кругом, я ничего не понимал, мне казалось, я в дурном сне. Воспитатель осатанел от ярости. Он и раньше раздавал оплеухи, мы это видели, но чтобы с таким ожесточением!.. Как мне спасти Жюльена? Драться? Бежать к директору? Наброситься на Стервятника? Нет, драться бесполезно. Я решился: бегом пустился к двери, ведущей на улицу, и открыл ее. Обернувшись на бегу, я заметил, что Стервятник делает движение, собираясь погнаться за мной. Но Жюльена не выпустил.

Направив на эсэсовца палец, я заорал:

– Ты труп! Труп!

Братишка барахтался изо всех сил. Стервятник швырнул его на землю и припустил за мной. Я летел со всех ног, глаза мне застилала слезы, и сердце колотилось где-то в горле.

Папа у нас герой. Дети часто считают отцов героями, приписывая им всемогущество. Им так этого хочется, что любой отцовский поступок они готовы счесть подвигом.

Но мой отец – настоящий герой. Я утверждаю это с полной уверенностью, потому что считаю так не один. Большинство учеников нашей школы тоже так его называют. Так что можно представить себе мою гордость! Герой в глазах всей нашей школы! Как Тарзан или Супермен. Какой мальчик не мечтает быть сыном Тарзана или Супермена? Лучше Супермена, потому что в «нормальном» состоянии папа вроде Кларка Кента¹², он тоже вежливый, сдержанный, даже застенчивый. Но в этот день папа облачился в рыцарские доспехи и полетел на помощь сыновьям. Прочь здравый рассудок, почтение к общественным учреждениям, воспитанность, застенчивость! Супермен не извиняется, когда карает зло!

История выглядела настолько театрально, что легко поверить, будто я ее приукрасил, глядя в прошлое сквозь патину времени. Но клянусь, я передаю ее со всей точностью, с какой только может быть передана семейная легенда.

Я влетел в прачечную, когда на часах была половина второго. Отец, вытирая пот, трудился за гладильным прессом. Запах перхлорэтилена витал в парном воздухе и щекотал горло.

Увидев меня, мама испугалась. Я же должен быть в школе!

– Рафаэль! Что случилось? Почему ты здесь? Почему плачешь?

Маму охватила паника.

– Господи! Жак! С нашими мальчиками что-то случилось!

¹² Главный герой сериала «Тайны Смолвиля», адаптированной версии Супермена.

Отец вышел из-за пресса.

– Что там еще? О чем ты? И почему здесь Рафаэль?

– Там что-то случилось, Жак! Жюльен! С Жюльеном, да?!

Я закатился плачем. Я не мог даже говорить. Я видел несчастного перепуганного Жюльена, его там бьет Стервятник...

– Да что случилось? Говори! Где братишка?

Чем громче они кричали, тем громче я плакал.

Сквозь слезы смотрел на лица папы и мамы и понимал: они вообразили себе худшее. Нельзя, чтобы они мучились ужасными безысходными картинками, я должен им все объяснить, сейчас вдохну побольше воздуха, перестану плакать и...

– Воспитатель... Он нас побил... И Жюльена... Назвал жидами...

Между всхлипами слова пробивались с трудом, понять их было непросто, но мама с папой поняли главное, поняли суть и серьезность случившегося. К тревоге примешались гнев и обида.

– Это что еще за история? – насупился отец. – Элен, дай ему воды, пусть успокоится.

Я попил водички, успокоился и все рассказал.

Ледяная ярость вспыхнула в глазах отца.

– Значит, синяки на лице это он тебе поставил? – уточнил отец.

– Он! И Жюльена он тоже бил! Пойдем быстрее! Он, может, еще бьет его! – Я тянул отца за рукав.

Отец положил мне руку на плечо, и его прикосновение в один миг сняло и боль, и страх.

– Пошли! – сказал он и двинулся к двери.

– Жак! Только успокойся! Не делай глупостей! – кричала нам вслед мама вне себя от беспокойства.

По дороге, нервно всхлипывая, я добавил кое-какие подробности, и они подогрели отцовскую ярость.

– Он бил меня по щекам... Драл за волосы... Называл жиденком... Жульен так кричал... Ему было больно...

Папа шел быстро, широким шагом, я бегом едва поспевал за ним. Когда мы подошли к школе, Стервятник беседовал с другим воспитателем.

– Он? – уточнил отец.

Я кивнул.

Отец распахнул калитку с такой силой, что она шмякнулась о стену. Грохот металла раздался как гром среди привычного ребячьего шума, и все замолкли. Стервятник мгновенно все понял. С беспокойством взглянул на коллегу, понял, что от него помощи ждать нечего, и отступил на два шага назад.

– Убью!

Вот что проревел мой отец. И на всех повеяло ужасом. Он был сама ненависть. Руки, глаза, все тело налилось звериной силой. Он перестал быть человеком разумным, он был способен на убийство.

Широким шагом он подошел к обидчику. Я бежал за ним, ловя на себе восхищенные, удивленные, испуганные взгляды ребят, которые расступались перед нами и потом застыли толпой.

Воспитатель открыл было рот:

– Подождите! Я сейчас объясню...

– Nardine Babek! Ты сейчас свою кровь пить будешь, – ледяным тоном сообщил отец, и от спокойного его тона стало еще страшнее.

– Поговорим разумно, – попытался вмешаться второй воспитатель.

Отец молча отстранил его.

Стервятник дотянулся уже из-под арки до двора. Еще пять минут назад он был силачом, который оскорблял, унижал, пускал в ход кулаки. Теперь он стал мальчишкой, перепуганным жутким монстром.

Когда папа навис над ним, он только смешно дернулся. Сделал попытку защититься и одновременно сбежать. Защищаться помешала трусость.

– Ты вот так бил моих сыновей? – спросил отец и отвесил обидчику монументальную оплеуху, от которой тот вписался в стену. – Значит, ты бьешь детей? А я с тобой на равных! Давай, защищайся! Бей меня!

Но Стервятник загораживался руками, испуганно глядя на отца.

– Да ты не мужик, а куча дерьма!

Я глазам своим не верил. Все, что происходило сейчас, было выше моего понимания. Папа бил воспитателя. Папа ругался плохими словами. И все остальные ребята были в такой же растерянности.

– Значит, мне ты боишься наподдать, а детишек бил?! Бил моих детей, подлая сволочь!

А Стервятник-то собирался сбежать.

Папа схватил и повернул к себе воспитателя, словно тот был костюмом на вешалке в нашей прачечной.

Стервятник изо всех сил дернулся, вырвался и припустил. Отец ринулся было за ним, но страх бежит быстрее гнева – воспитатель уже выскочил за ворота.

Отец обратился ко второму:

– Где мой сын?

– Он... он... У директора, – ответил тот, отступая.

Отец кивнул мне, и я его повел. Мне казалось, что мы с ним отряд мстителей, призванный наказывать злодеев. У меня, конечно, роль была поскромнее, но отряд есть отряд, и дело не в личной доблести. Главное – восстановить справедливость.

Перед дверью кабинета я остановился. Отец шагнул вперед и широко распахнул дверь.

Жюльен стоял к стене носом, и тут же повернул к нам голову. Волосы торчком, весь зареванный, с красными щеками. Увидев папу, он замер от удивления и даже перестал плакать. Мне хотелось броситься к нему, обнять, крикнуть, что мы его освободили, рассказать, что мучитель получил по заслугам.

– Как это понимать? – осведомился месье Лапорт ледяным тоном.

– Что тут делает мой сын? – грозно спросил отец.

– Я не позволю вам, месье...

– Не позволяйте?! Вы не позволяйте мне?! – Искреннее изумление отца было продиктовано его гневом. – Вы, который позволяете своим воспитателям бить моих детей?! Называть их жидами?!

– О чем это вы? – повысил голос любитель драться за уши, стараясь остаться на высоте положения. – В любом случае я не потерплю, чтобы в мой кабинет врываются и разговаривали со мной в таком тоне!

– Ах, вы не потерпите? – задохнулся отец.

Он сделал шаг, наклонился, схватил директора за воротник и с удивительной легкостью поставил его на ноги. Потом левой рукой подтолкнул меня и поставил перед директором.

– Полюбуйтесь, что ваш воспитатель сделал с моими мальчиками! Он их бил, называл жидами, а вам хоть бы что! Вы их еще и наказываете!

Отец притянул к себе Лапорта, как только что притянул Стервятника, и сказал четко, твердо, весомо:

– Пальцем не троньте моих сыновей! Никаких грубостей и оскорблений! Вы мне на суде за них ответите! У меня достаточно знакомств, чтобы устроить вам серьезные неприятности. Избиение малолетних, расистские преследования. Вы за них поплатитесь.

Я задумался, какие такие у отца знакомства? Что он имел в виду? Мне трудно было себе представить, что мясник Жерар, владелец кафе Жан или директор букмекерской конторы могут как-то повредить директору школы.

Но как бы там ни было, директор быстренько себе представил неприятности, которые могут возникнуть из-за несдержанности его подчиненного и его собственного попустительского. И сразу стал покладистее.

– Пойдите, пойдите! Мне ничего об этом не известно. Ко мне привели вашего сына, пожаловались, что он нарочно засорил туалет, спустив туда отбивную. И я его наказал, поставив носом к стенке. Всего-то-навсего.

Папа устался на директора, стараясь понять, говорит ли он правду.

– Другого от вас не услышишь! Я не знал! Не видел! Это не я!

Он выпустил из рук воротник Лапорта и повернулся к Жюльену:

– Пошли, сынок! Нам пора домой.

– Подождите, месье Леви. Нам надо поговорить. Я приму необходимые меры...

Но мы уже вышли из кабинета. Ребята, не скрывая восхищения, проводили нас до калитки. Школьные занятия на сегодняшний день для нас кончились.

Вот так. У каждой семьи есть свои легенды. События, важные слова, поступки, которые мы храним в памяти и которые помогают нам понять, кто мы такие, чем гордимся, за что держимся. Истории, на которых мы останавливаемся, и эти остановки делаются для нас точками отсчета в беге времени. В архиве нашей семьи не только эта история. Есть и другие. Их много. Кое-что я еще расскажу, но потом. Эта история была первой, самой прекрасной и самой героической в нашем семейном эпосе.

Мунир

Мы с Рафаэлем подружились. Дети понимают дружбу как товарищество. В их словаре нет слов, говорящих о чувствах, о привязанности. Чувствительность считается чем-то постыдным, свидетельством слабости. Так что никаких эмоций, пафоса, все обыкновенно, все буднично. Слова воспринимаются как что-то чужеродное. Слова, они для девочек. Только девочки рискуют доверяться им и говорить о чувствах. У нас дома, например, только мама имеет право на ласковые слова любви. Папа никогда не говорит, что любит нас, какие мы у него красивые и хорошие, как он нами гордится. Это мы читаем в его глазах, и нам этого довольно.

С Рафаэлем мы тоже говорили глазами. И после истории с мясом стали держаться вместе. Кто первым приходил в школу, дожидался другого. Но мы не бежали навстречу друг другу. Спасибо друг другу тоже не говорили.

Рафаэль понимал, о чем я думаю, разделял мои вкусы. Нам хватало беглого взгляда, и мы уже передавали друг другу то, что стеснялись сказать на словах.

Не знаю, чем это объяснить. Так сложилось. Мы быстро соображали, но оба были стеснительными. Такие отношения бывают между братьями: они так хорошо друг друга знают, что слова им не нужны. Да мы и чувствовали себя братьями, которые встретились после долгой разлуки и рады узнать, что сродство их гораздо важнее несходства.

С Рафаэлем я становился самим собой. Стеснение не сковывало мне язык, я говорил, не думая об ошибках. Мы встали рядом и с одинаковой жадностью вглядывались в окружающий мир. Зная, что мы рядом, мы чувствовали себя сильнее. Неуверенность не застила нам глаза. Мы мешали арабские слова с французскими, говорили о французах с иронией, о Франции с надеждой, о родителях с затаенной нежностью.

Наши родители не были похожи. Родители Рафаэля умели лучше играть во французов, чем мои. Собственно, они принадлежали к разным поколениям. Возраст у них был один и

тот же, но мадам и месье Леви лет на двадцать раньше начали сживаться с французами. Уже в Марокко они стали учиться общаться с ними, перенимать их манеры, культуру, одеваться по их моде. Мои были марокканцами. Их культурой были традиции.

Мать Рафаэля иногда носила костюмы в стиле Шанель, а отец – в стиле Кардена.

Представить мою маму в костюме Шанель! Да она о таком и не подозревала! Материю и одежду она покупала на рынке или на площади Дю Пон. И если бы отец подарил ей вдруг костюм (что очень маловероятно), она бы не решилась его надеть. Всякий раз, когда она получала дорогой подарок или сама покупала что-то очень хорошее (красивое постельное белье, изящный кофейный сервиз), то бережно заворачивала драгоценность в шелковую бумагу и убирала на самую верхнюю полку шкафа. Хорошие вещи не должны быть на виду, а то привлекут внимание, глаз Сатаны. Выставлять себя напоказ – опасно.

Больше всего мои родители были похожи на дедушку и бабушку Рафаэля с отцовской стороны. Его бабушка говорила с таким же акцентом, как и моя мама, делала такие же грубые ошибки.

– Aji lahna nahobes. Ти сходить купить мне литыр молока в Казино. Ти беречь монета и купить «марс» тебе и другу, Mchekpara.

Вот что она сказала Рафаэлю, когда мы недавно встретили ее у подъезда ее дома. И мы с Рафаэлем радостно улыбнулись, чувствуя свое родство.

У евреев есть еще одно преимущество перед нами: внешность. Большинство из них белокожие. Есть, конечно, и смуглые, похожие на арабов, но чаще они похожи на итальянцев, испанцев, а иногда даже точь-в-точь французы.

Рафаэль как раз француз. Волосы у него тонкие, прямые, гладко причесанные, кожа белая, и он похож на француза-южанина. Вот только глаза его выдают. Они с нашей родины. Глаза марокканца, большие, черные, круглые, готовые смотреть на яркое солнце. Мы разговаривали с ним глазами. Мне нравилось, что мы понимаем друг друга с первого взгляда, иногда, переглянувшись, смеемся, нередко над французами – когда они уж слишком французы. Когда слишком важничают, щеголяя особым акцентом, кудахтают над каким-нибудь пустяком. Никто не понимал, что вызвало наш смех, и нам это нравилось.

Да, мы с Рафаэлем крепко подружились.

Рафаэль

Жюльен скорчил гримасу. Он не желал есть и отодвинул антрекот.

– Порадуй папу, съешь, пожалуйста, мясо! Ты знаешь, сколько стоит кошерная говядина? Даже представить себе не можешь, сколько она стоит! Только богачи могут себе позволить быть верующими.

– Оно недожарено, видишь, какое красное, – не соглашался брат.

– Красное? – рассердился папа. – В кошерном мясе нет крови, оно сухое и белое, и стоит дороже золота.

Вот уже месяц, как мы ели кошерную пищу, но папа не уставал жаловаться на ее дороговизну, вкус и свежесть.

Слушая его, я повторял про себя волшебные заклинания, которые должны были мне помочь исчезнуть. Я знал, он винит меня в нашей домашней революции, и все его упреки я немедленно адресовал себе.

– На самом деле папа доволен нашими переменами, – сообщила мне тихонько мама, хотя и была под впечатлением от дороговизны мяса в лавке Мазеля Това. – Скажу тебе больше, папа гордится, что эти перемены внесли его сыновья.

– Да? Но он все время сердится.

– Ты же знаешь, папа любит поворчать. Но я говорю тебе, он очень доволен вашей просьбой, она избавила его от угрызений совести, а то он постоянно упрекал себя за то, что не блюдет запретов.

– А в ресторане он по-прежнему ест некошерное.

– Ну что ж, – засмеялась мама. – Не может же он сразу во всем сдаться. Теперь дело за ним, он сам будет потихоньку двигаться вперед.

Жюльен решил и проглотил кусочек мяса.

– Вот и хорошо. А теперь я скажу, что я решил, – гордо заявил папа. – Я решил, вернее, я принял даже не одно, а два решения.

Не очень-то я люблю папины решения. Похоже, что и у брата недоброе предчувствие, он смотрит на меня, словно бы говоря: «Ну, сейчас мы с тобой получим! Мало не покажется!»

– Значит, вы хотите, чтобы мы жили как настоящие иудеи? – спросил папа.

Мои опасения подтверждались.

Я опустил голову и постарался, чтобы у меня на тарелке не осталось ни крошки мяса.

– Я к тебе обращаюсь, Рафаэль!

– Ну да, конечно.

Я с трудом выдержал папин взгляд.

– Ну так вот, я записал тебя в школу изучения Торы. Будешь изучать историю евреев и читать на иврите. Готовиться к бар-мицве. По воскресеньям станешь ходить в синагогу и учиться. Что скажешь?

Сообщение, что по воскресеньям мне придется вставать с утра пораньше, меня не сильно обрадовало.

– Мне кажется, мне рано еще ходить в эту школу. Бар-мицва ведь в тринадцать лет.

– Да, но чем раньше ты начнешь, тем скорее все выучишь.

– И мне тоже туда ходить? – встревожился Жюльен.

– Нет, не с этого года.

Брат выразил свою радость тем, что яростно вгрызся в антрекот.

– Рафаэль!

Нет, это не повод, чтобы спорить.

– Конечно, буду ходить. Мне нужно все это выучить. Да, конечно, мне интересно.

Папа радостно взмахнул руками, обрадовавшись, что я с ним согласился, и улыбнулся маме.

– А второе... решение? – отважился спросить Жюльен.

– Это насчет Рождества. Мы больше не будем его праздновать. Этот праздник нас в самом деле не касается.

– Больше не будет Рождества? – жалобно воскликнул Жюльен. – Ни подарков? Ни елки?

Папа замолчал, чтобы придать весомости своим словам, потом сказал:

– Да, никакого Рождества. Мы будем праздновать Хануку.

– Хану... что?

– Хануку. Праздник свечей.

– Праздник свечей, – повторил растерянно брат. – А что делают на этот праздник свечей?

Папа лукаво улыбнулся.

– Будем каждый вечер зажигать свечи.

– Вот это классно, – мрачно отозвался Жюльен, уткнувшись носом в тарелку. – Вместо подарков свечи. Гениально.

Папа засмеялся и вышел из кухни.

Мы с братом, подавленные, остались сидеть за столом. Мама наклонилась к нам.

– Мы будем зажигать свечи и дарить детям подарки, – добавила она.

Жюльен расплывается в радостной улыбке.

А мне немного жаль веселого сладкого Рождества. Но, с другой стороны, мне приятно. Я сделал выбор, и меня услышали. Наша жизнь меняется, потому что мы становимся тем, кем хотели бы быть.

Мунир

«Шофер, если ты чемпион!..» В сотый раз ребята в автобусе повторили припев. Я не знал этой песни, и поначалу она мне даже понравилась. Водитель с улыбкой покачивал в такт головой, и мне казалось, что он заодно с хором. Но потом я понял: с его стороны это была вынужденная вежливость. А сейчас лицо у него стало суровым. Он смотрел на дорогу и, наверное, спрашивал себя, был ли и он в наши годы таким же надоедливым идиотом, и ответ его не радовал.

Я впервые отправился в путешествие на автобусе. Впервые ехал в горы. Впервые должен был встать на лыжи. Страх перед лыжами портил мне всю поездку.

Рафаэль сидел рядом и читал «Астерикса»¹³. «Галла Астерикса». Интересно, почему французы отождествили себя с этим усачом, чья единственная доблесть – пить волшебный напиток? Маленькая деревенька сопротивляется куче злодеев. Смешно.

– Ты уже ездил на таком автобусе? – спросил Рафаэль.

– Да. А ты? Нет?

– Ездил, ездил, – поспешно ответил он.

– И что тогда?

– Ничего. Не знаю этой песни.

Интересно, покраснел я или нет? Иногда я краснею и выдаю себя.

– Брось, она дурацкая.

Я согласился, кивнув. Мне очень хотелось задать еще один вопрос, но я пока не решался.

Рафаэль меня от него избавил, сказав:

– А я, представляешь, никогда не катался на лыжах.

Мне показалось, что окна в автобусе распахнулись и на меня повеяло свежим воздухом.

Да вообще-то многие из нас не катались. Новичков можно узнать сразу – джинсы, кроссовки, куртки или лыжные костюмы, но слишком просторные или слишком тесные, явно с чужого плеча. И они так же недоверчиво смотрят на хвастунов в складных костюмчиках, которые показывают свои «звездочки» и «снежинки» и рассказывают, за что их получили. Черт! С ума от них сойдешь!

– В общем, думаю, это нетрудно! Скользишь себе на двух досочках! Но спорт дурацкий, мне кажется!

Спасибо Рафаэлю, он искренне высказал наше отношение к лыжам.

Мы вышли из автобуса, и у меня закружилась голова. Я не ждал увидеть такой белизны и такого простора. Свет слепил глаза. Ледяной воздух обжигал губы и легкие.

– С ума сойти, до чего красиво! – воскликнул Рафаэль, чувствуя то же, что и я.

¹³ Вымышленный галл, герой ряда европейских комиксов, девяти мультфильмов и четырех комедийных художественных фильмов, входящих в цикл «Астерикс и Обеликс» (*фр. Astérix et Obélix*).

Минута смятения миновала, и меня охватила эйфория. Я готов был бежать, кинуться на снег, кататься по нему, даже попробовать его на вкус.

Пункт проката. Рафаэль и я обменялись смешливыми взглядами, обзрев свои ботинки. А когда попробовали идти, то в голос расхохотались. И тут же прикрыли рты – не хотели, чтобы приняли за новичков-дурачков.

– Кто умеет кататься, становитесь справа, кто не умеет – слева! – скомандовал тренер.

На короткую секунду новички заколебались. Решали непростое уравнение, где в левой части отвага и вранье, а в правой – риск. Я посмотрел на трассу, на все петли и повороты и вопросительно уставился на Рафаэля. Похоже, и он не знал, на что решиться. Но вот первый новичок встал слева от тренера, и к нему сразу же присоединилось еще несколько ребят. Мы тоже уже было собрались влиться в команду здравого смысла, но тут Александр заорал во все горло:

– Не бойтесь, девчонки! Сейчас получите санки!

И мы с Рафаэлем решительно надели лыжи, а тренер сразу дал нам несколько советов, как держаться на первых порах.

Родители не хотели, чтобы я ехал кататься на лыжах. Во-первых, им было непонятно, с чего вдруг школа озаботилась такой экскурсией. Школа, она для ученья, а не для забав. Во-вторых, они беспокоились, как бы со мной чего не случилось. И в-третьих, хоть плата за поездку была невелика, для них она была лишним расходом.

Но я настаивал: поедет весь класс! Я что, один буду сидеть в школе?

И еще я приврал: мы не будем кататься на лыжах, только на санках, и потом будем изучать растения и снег, такое нам дали задание.

В конце концов родители согласились.

И теперь страстное желание улетучилось, и я боялся оскандалиться.

Зато когда надел лыжи, страх пропал. Мы все выглядели очень смешными! Кто-то сразу не сумел удержать равновесие, заскользил назад, шлепнулся и не мог подняться, все радостно засмеялись.

Мы с Рафаэлем держались рядышком и надрывались от хохота. Смеялись друг над другом, над своими неуклюжими движениями, нерешительностью, падениями.

Становиться французом нелегко, но весело!

Мы едва ковыляли, когда дружок Александра промчался мимо нас, обдав облаком снежной пыли.

– Завязли, вруны?! – крикнул он.

Я мигом слепил снежок и запустил в него. Попал прямо в затылок. Он не ждал такого, поскользнулся и завалился. Мы застыли от неожиданности, следя, как он там барахтается. Потом снова расхохотались. Слезы текли у нас из глаз и застывали на щеках от холода.

Смех, наше общее неумение еще крепче нас подружили.

Рафаэль

– Рафаэль, вставай! Пора!

Чего бы я ни отдал, чтобы понежиться еще в постельке в это темное декабрьское утро!

Но делать нечего! Папа не уйдет из комнаты, пока я не вылезу из-под одеяла.

Я открыл глаза. Жюльен издевательски мне улыбался из своей кровати. Эту улыбочку мы позаимствовали из фильма Джерри Льюиса¹⁴ и достаем ею друг друга за спиной родите-

¹⁴ Американский актер, комик, режиссер и писатель. Прежде всего знаменит юмористическими номерами, с которыми выступал на радио и телевидении.

лей. Она означает объявление войны. Братишка, как видно, проснулся немного раньше и с радостью ждал, когда мы с папой начнем с ним возиться. Но мне неохота сегодня возиться, нет даже сил вылезать из-под одеяла, и я решаюсь на диверсию.

– Пап, у меня живот болит!

– Знаешь что! Пойдешь у тебя на поводу, так ко дню бар-мицвы ты одни рецепты выучишь!

У отца тон, не терпящий пререканий. Он непоколебим.

Братишка улыбается еще ехиднее: что, получил? Шах и мат! И тоже получает. Я швыряю в него тапочку. Он отклоняет голову и мигом зарывается в одеяло.

А я со злобным ворчанием поднимаюсь. Как же мне холодно! Весь дрожу.

Я терпеть не могу Талмуд-Тору, подниматься с утра пораньше в воскресенье, тащиться по пустынным холодным улицам, представляя, как мои приятели сладко спят в тепле...

Но не только усталость, холод, желание спать мешают мне бодро шагать – во мне растет ощущение гнетущей пустоты, и я безнадежно застываю в девять часов утра перед тяжелой деревянной дверью. Стою и не шевелюсь, делая вид, что у меня есть выбор, что я могу уйти. Как бы мне хотелось превратиться в супергероя, взлететь и снова оказаться в теплой постели! Я сосредоточиваюсь, напрягаю все свои силы, набираю в грудь воздуха и... вхожу.

На самом деле я кажусь себе статистом в любительском фильме, сценария которого не понимаю. Между нами говоря, ходить в школу, где изучают Тору, – все равно что участвовать в фильме, изображающем настоящую школьную жизнь. Здесь, как в обычной школе, классы, только поменьше. Учитель? Раввин и его помощники, сын или дочь. Школьное оборудование? Рваные книги, мятые тетради, изгрызенные ручки. За отсутствием педагогической методики псевдоучитель всегда вызывает к авторитету, настолько великому, что у нас должна сразу отпасть охота спорить или дремать. Занятия беспорядочные, они меня только расстраивают. И мне кажется, что с их помощью я вряд ли укреплюсь в национальном самосознании. С чтением у меня никак не ладится, путаю буквы, не могу понять, какой каждой из них соответствует звук. И верх нелепости – не понимаю смысла того, что читаю. В общем, учу не язык, а только как что произносится.

Некоторые из учеников стараются все-таки учиться. Кто-то мечтает или рисует. И все ждут перемены.

Тогда все бегут во двор. Начинаются толкотня, крики, драки. Дикарям дается двадцать минут, чтобы сбросить накопившуюся агрессию.

У раввина мне интересны только уроки истории. С первых же слов я чувствую, что очнулся от летаргии, и у меня начинает работать воображение. Оно превращает слова в картины: лица, фигуры, одежды, пейзажи, свет и тени. Я узнаю о предках, которые жили задолго до меня, об удивительных мужчинах и женщинах, полных необыкновенных достоинств и удивительных возможностей. Что за великолепная у нас история! История, которая через века дотянула свою нить до меня и до тех, кто сидит рядом со мной в этой комнате. Моя фамилия говорит мне о прочной связи колен, которые ведут ступень за ступенью к самому великому из героев – Моисею.

Мунир

В школе после обеда у нас остается еще сорок пять минут свободных. Все выбегают во двор, у каждого своя компания, затеваются игры, кто-то гоняет в футбол, над двором стоит веселый, энергичный шум голосов.

Я всегда с Рафаэлем, у нас тоже сложилась своя компания, и мы иногда играем в футбол, а иногда просто болтаем. Исключение – понедельник. В первый день недели мой луч-

ший друг на меня даже не смотрит, он сидит на ступеньках лестницы, ведущей в медпункт, и что-то рассказывает другим ребятам, всегда одним и тем же. Рассказывает, встает, размахивает руками, кого-то изображает. Скромная публика, похоже, в полном восторге от спектакля.

– Он рассказывает нам историю евреев, – сообщил мне Жан-Люк, один из слушателей Рафаэля. – Ты знаешь, например, что Моисей разделил море на две части, чтобы евреи прошли через него посуху, убегая от фараона?

Вот ведь что! Вот, значит, о чем повествует мой дружок по понедельникам! История евреев! Опять евреи! Похоже, теперь для него это самая главная тема.

– Евреи – наши враги, – заявил как-то Момо, паренек из нашего двора возле дома.

Мы с удивлением на него уставились. Наезжать на евреев дело для нас привычное. Наезжать – это просто такая манера разговаривать, давать понять, что ты сам умнее и лучше. И бранное слово вовсе не презрение, оно запятая, точка, ударение, подчеркивающие ритм фразы.

Слова Момо были утверждением.

– Воровской народ. Где ни поселятся, все к рукам приберут. Занимают лучшие места на предприятиях, селятся в лучших домах. Украл целую страну у палестинцев. Считают, что все, что ни есть в мире, ихнее. В общем, в Коране написано, что всех их надо уничтожить.

Ребятчи головы зашевелились, выражая удивление или согласие.

Меня поразили слова о Коране. Может ли такое быть? Чтобы Пророк призывал к убийству?

– Да ты чего? Не веришь? Пойди на площадь Дю Пон, там кому все лавки принадлежат? – засмеялся Хусейн.

Хусейн вечный подголосок. Хитрый, завистливый, ему бы самому хотелось все себе заграбастать.

А про площадь Дю Пон верно: евреи продают, мусульмане покупают. Восточные материи, джинсы, платья, украшения... Они знают, что арабам нравится, вот и торгуют. Там на площади вечная ярмарка.

Площадь находится на пересечении улицы Поль-Берт, проспекта Гамбетта и большой улицы Гийотьер. Все три улицы торговые, одни сплошные магазины, набитые всевозможными товарами. Я бывал там иногда с папой и никогда не замечал ни малейшей вражды, ревности или ненависти между евреями и мусульманами. Наоборот, все болтают, шутят, торгуются. Папа чувствует себя непринужденно на этой ярмарке: сердечность, яркие краски – все напоминает ему родину. Он не опасается здесь косых взглядов, насмешек, недоброжелательности. Хотя иногда я чувствовал за внешним добродушием настороженность. Неужели евреи из выгоды прячут свою враждебность? Неужели за улыбками арабов таится ревность к удаче своих более успешных земляков?

Я немного сбит с толку. Моя искренняя симпатия к евреям время от времени наталкивается на явную, ничем не обоснованную нелюбовь к ним отдельных моих соплеменников. Их немного, но им никто особенно не возражает, так что в воздухе повисает невольное сомнение: а так ли искрення доброжелательность остальных? Конечно, и среди евреев есть злопыхатели, которые не скрывают враждебности к арабам, так что пламя ненависти подпитывается с двух сторон.

Я спросил отца о Коране.

– Какая глупость! – возмутился отец. – Ислам никогда не требовал гибели евреев.

Слова отца меня успокоили. Но до чего же трудно во всем этом разобраться! И ведь правда, были бы евреи в самом деле нашими врагами, разве мы жили бы вместе? Разве покупали бы у них в магазинах еду и одежду? Разговаривали с ними? Общались по-соседски?

Рафаэль – мой лучший друг, единственный не араб, с которым я чувствую себя самым собой, открываясь незнакомому миру. Евреи показывают нам, кем мы могли бы стать, умей мы лучше приспособливаться к французам.

Возможно, именно поэтому я и не хочу слушать по понедельникам его рассказы из Библии. Чем больше он чувствует себя евреем, тем больше отдаляется от меня, потому что я хочу совсем другого – я хочу быть французом. Как-то раз в очередной понедельник я попытался отвлечь его футболом, придумал сложности, попросил помочь мне, но безуспешно. Рафаэль торжественно направился к месту, где привык разыгрывать свой театр, и с ним вместе пять дурачков, ожидающих волшебных историй.

Вообще-то мне было обидно, что он ни разу не позвал меня послушать свои рассказы. С какой стати он исключил меня? Несправедливо. Мы подружились, потому что оба сильно отличались от французов. А теперь он доверяет больше французам, им рассказывает, чем от них отличается. Я мало что знаю об истории мусульман. Знаю только главные события из жизни нашего пророка Мухаммеда. Но я не мог бы больше пяти минут говорить перед публикой. Это не мое.

Рафаэль открывает для себя иудаизм и отстаивает его. Я не хочу, чтобы меня любили за мусульманство. Я хочу, чтобы арабов не презирали.

Рафаэль

Сентябрь 1972

Постепенно я стал евреем. Рывками. Пинками.

Случай в бассейне, случай с воспитателем-расистом раскрыли мне глаза на то, что я не такой, как другие. До этого я считал, что мы отличаемся коротенькими историями, уходящими корнями у одних в дальние уголки Франции, у других – Испании или Марокко, но школа обязана избавить нас от всего лишнего, отмыть от родимых пятен, превратить в совершенно новеньких детей-французов. Ничего подобного. Я ошибался. Во Франции хотели, чтобы я был евреем, и я им стал. Взгляды, которые на меня бросали, слова, отношение ко мне вынудили меня понять, что я чем-то от всех отличаюсь.

И я сделался сионистом.

Неужели война и ненависть – главная закваска для самоопределения?

Я знаю, какие события, какие факты протянули невидимые нити между мной и Израилем. Нити, которые трудно обозначить, но они ощутимы и действенны. Я имею в виду нити духовной и телесной связи, которую на протяжении всех времен евреи, где бы они ни жили, поддерживали со своей родной землей. Никому другому не понять этой связи. Да и как ее понять, если чувствовать ее дано только нам, евреям?

Назвав себя сионистом, я не имею в виду принадлежность к политическому движению. Слово «сионист» стало ругательством в устах темных людей, извративших его смысл; анти-семитов, трусящих признаться в своей враждебности. Я имею в виду совсем другое – теплый ветер, который время от времени перелетает через все границы, проникает сквозь стены и касается нашей кожи, наполняет ноздри сладким ароматом, тревожит душу, пробуждая в ней невероятные воспоминания, открывая суть слова «изгнание». Дуновение это сравнимо с видениями, которые посещают эмигрантов, вспоминающих родину. Израиль – наша родина. Наша история неразрывно связана с ним.

Израиль. Время от времени это слово звучало у нас в доме. Для родителей оно было источником тревог и озабоченности. Для ребенка, каким я был тогда, означало нечто таинственное, связанное с Иерусалимом.

Тель-Авив в новостях на первом канале. Папа с мамой включают громче звук, шикают, требуя тишины, с тревогой качают головами.

Значит, Израиль имеет к нам и нашей семье какое-то отношение?

В школе изучения Торы об Израиле говорили как об определенном месте и определенном периоде истории, когда происходили необыкновенные события. Израиль – это прошлое и одновременно будущее.

А для меня тогда Израиль был частью истории народа, к которому принадлежал и я.

Но тогда я еще не связывал себя с этими исполненными смысла понятиями: «Земля обетованная», «двенадцать колен», «Израиль», «иудаизм»...

Мне хватало других трудностей: я отыскивал свое место в мире, разбираясь с Марокко, Францией и своим еврейством.

Если бы нагрянувшие события не поставили для меня вопрос ребром, я бы, наверное, выбрал в себе все-таки будущего француза. Да, конечно, чтобы преуспеть, мне надо было закрыть глаза и забыть все картинки из книги о холокосте, которые пульсировали в моем мозгу. Но какой ребенок не откажется от кошмаров ради прекрасной мечты?

Но в сентябре 1972 года я стал израильтянином, то есть евреем, связанным с землей Израиля.

5 сентября. Зазвонил телефон. Мама взяла трубку. Я увидел, как она внезапно побледнела и тихо с горестным удивлением сказала:

– Господи! Когда это случилось? По радио? Но кто?

Мы перестали играть, ждали, когда она положит трубку, чтобы спросить, что случилось.

Но мама, поговорив по телефону, побежала на кухню, поминая всех святых. Включила радио и села слушать, настороженная и встревоженная.

Нам не пришлось задавать никаких вопросов, радио объяснило причину ее волнения.

«Сегодня утром около пяти часов утра боевик-террорист проник в Олимпийскую деревню на территорию израильской делегации. Он открыл огонь и убил двух израильских спортсменов, девять других взял в заложники. Полиция заблокировала Олимпийскую деревню».

– Господи! Да как посмели! Это же спортсмены! Мальчишки!

Воздух внезапно стал тяжелым, нам пришлось приоткрыть пересохшие рты, чтобы глотнуть хоть каплю кислорода. Мы подошли к маме, нам хотелось понять, почему она так сильно напугана. Она почувствовала, что мы рядом, и крепко-крепко прижала нас к себе.

– Что случилось? – едва слышно спросил Жюльен.

– Ничего, деточки мои, ничего не случилось.

Разве можно успокоиться, получив такой ответ? Но настаивать мы не решились. Мама не отрывала глаз от радио, она продолжала внимательно слушать. Время от времени она восклицала:

– Господи! Рав Хаим Пинто!¹⁵ Раби Меир Бааль Анес!¹⁶

Мама призвала Господа и праведников, значит, дело было серьезным. Она поминала их только в очень серьезных случаях. Поначалу, совсем маленьким, я думал, что это имена

¹⁵ Еврейский духовный лидер, ортодоксальный раввин, каббалист, руководитель системы образовательных и благотворительных учреждений «Шуву Израель».

¹⁶ Раби Меир, известный как Бааль Анес (Чудотворец) – величайший мудрец эпохи Мишны. В народе прославился как человек, способный творить чудеса. Отсюда его второе имя – Бааль Анес, чудотворец.

супергероев. Они мчатся по небу в огненных колесницах, в развевающихся плащах со сжатыми кулаками. Но в один прекрасный день мне попалась на глаза фотография реббе Хаима Пинто, она лежала у бабушки на тумбочке: сухонький старичок, одетый по-восточному, с длинной седой бородой. Сначала я очень огорчился. По моим представлениям, супергерои не старели. Но потом я понял, что его супермогущество в чем-то другом, оно в его глазах, во взгляде, полном мудрости.

– Ты знаешь, кто это? – спросила бабушка.

Я кивнул.

– Рав Хаим Пинто. Внизу написано.

– Святой человек. Он родом из нашего города. Знал бы ты, сколько он совершил чудес.

Я вздрогнул. Чудес? Значит, он все-таки супергерой? И я потребовал, чтобы бабушка мне все о них рассказала. Бабушка Жакот только того и ждала. Я не буду вам пересказывать все, что она мне в тот день поведала. Ваша улыбка причинит мне боль. Нужно родиться в Марокко или верить в Бога, чтобы понять нас с бабушкой.

Утро шло под знаком радионовостей. Услышав музыкальный сигнал, мама бросала все дела, садилась около радио и шептала святые имена. Мы играли молча. Ни смеха, ни криков. Слово за слово, мама потихоньку кое-что нам объяснила. Почему она так испугалась? Потому что пострадали спортсмены или потому что пострадали израильтяне? Они что, наши родственники? А почему тогда нам о них никогда не рассказывали?

Мы задавали вопрос за вопросом.

– Их взяли в заложники, потому что они евреи. Как мы.

Как мы. Значит, и нас могут взять в заложники? Значит, есть люди, которые так ненавидят евреев, что хотят их убить? Но папа же сказал, что ненависти больше нет, что никто на них... на нас больше не нападает, потому что у них... потому что у нас... есть своя страна.

Нежданно-негаданно папа пришел в этот день домой обедать. Он открыл дверь, опечаленно взглянул на маму и сразу подошел к радио. Должны были передавать новости.

Папа обнял нас, прижал к себе. И он тоже. Он обещал защиту своим детям. Возможным жертвам.

Весь этот день до поздней ночи прошел в тревоге. Уже лежа в постели, мы прислушивались к голосам родителей: что они говорят? Как они говорят?

Самую страшную новость они узнают, когда мы уже будем спать.

Покрасневшие глаза мамы, обострившееся лицо отца, их нежность к нам на следующее утро сообщат нам печальную весть раньше, чем мы услышим взволнованный голос журналиста.

Одиннадцать израильских спортсменов были убиты террористами во время попытки немецкой полиции освободить заложников.

Потом в газетах появятся фотографии выживших спортсменов в трауре. И еще фотографии – весь израильский народ оплакивал своих сыновей, матери рыдали у могил своих детей.

Террористы толкнули меня на путь сионизма, тени нацистов заставили почувствовать себя евреем. Никому из них я не благодарен.

Позже, когда Моссад¹⁷ уничтожит этих террористов, я буду хлопать в ладоши.

¹⁷ Служба внешней разведки Израиля.

Мунир

Я попросил папу объяснить мне, почему столько разговоров о черном сентябре и заложниках. Меня встревожили слова Салима, моего приятеля, а он сказал во дворе несколько минут назад:

– Когда убивают евреев, весь мир рыдает. А когда арабов, всем плевать.

Ему возразил Абдель:

– Что ты такое говоришь! Спортсменов убили!

Абдель, он добрый, спокойный. В квартале слывет мудрецом, а Салим – террористом. Они постоянно спорят, и огнем споров закаляется их дружба. Салима восхищает мудрость Абделя, Абделя – сила Салима, благодаря которой он сделался среди ребят вожаком.

– Скажешь тоже, спортсменов! Солдат! В восемнадцать лет они все уходят в армию. Учатся убивать палестинцев, уроды!

Салим строчит грубыми словами, как из пулемета. Абдель степенно ему отвечает. Он говорит так тихо, что мы невольно подходим ближе, чтобы расслышать, что он говорит. Взгляд Салима нас останавливает. Взрослые парни не любят, когда мы болтаемся у них под ногами.

Я тороплюсь домой, чтобы задать папе все волнующие меня вопросы: спортсмены или солдаты? Жертвы или уроды? Все только и говорят об убитых. Радио, телевидение, молодежь, старики, мясник, булочница, соседи. А он что думает? Какое его мнение? Или это его вообще не интересует? А я? Как мне разобраться в своих чувствах, которые раздирают меня на части? Я не могу не испытывать сочувствия и жалости. И стыда тоже, потому что террористы были арабами и все на свете арабов ненавидят. Но мне не безразличен и всплеск их ярости, он так жесток, потому что глубоко внутри в нем таится безнадежность и обреченность... Папа мне поможет. Сейчас вот вернусь домой и все у него выпрошу.

– Они сделали злое дело, сынок. Убили молодых мальчиков.

– Но говорят, что все евреи солдаты и они убивают палестинцев.

– Но не эти, эти были спортсменами. Нельзя убивать молодых.

– Но израильтяне тоже убивают молодых. И всем в мире на это наплевать.

– Это нехорошие мысли, сынок. Не надо допускать до себя войну. Она разделяет евреев и арабов.

Отец махнул рукой – он всегда махал рукой, когда волновался, – и ушел. Нет, отец не успокоил меня, не разрешил моих вопросов. Наоборот, прибавил к ним еще новые.

Почему плохо отделяться от евреев?

Я думаю о Рафаэле. Что он чувствует? Возмущается арабами?

Стоит мне с ним поговорить или нет?

Мы никогда не касаемся проблем, о которых спорят все вокруг. Не чувствуем себя взрослыми, не решаемся говорить о слишком серьезных вещах. Наверное, нам хочется жить в мирке, который нас сближает. Мы не спешим в мир к взрослым, где пылают гнев и ненависть, где все друг друга оскорбляют.

И потом, я-то что могу? Что могу для палестинцев? Для израильтян? Не стоит мне о них думать. У меня своих бед довольно – и сейчас, и в будущем. Зачем мне переживать из-за людей, которые тратят жизнь на то, чтобы убивать друг друга?

Нет, признаюсь честно, ненависть мне совсем не интересна.

Рафаэль

Мы с Муниром понимаем друг друга. Нас одно и то же смешит, одно и то же тревожит, мы одинаково чего-то стесняемся, одинаково чему-то радуемся. Мунир научился лавировать между моими приятелями французами, с которыми я общаюсь, и своими приятелями арабами. Его друзья тоже меня принимают – отчасти из симпатии, отчасти из уважения к Муниру, который пользуется у них авторитетом.

Среди французов мы с Муниром в особицу. Всегда вместе, всегда заодно. Нас приняли, хотя мы другие, не похожи на них. Мунир смуглый, такой же, как Жюльен. Дедушка с бабушкой у него берберы¹⁸. Его мама родилась в деревне неподалеку от Могадора, точь-в-точь как моя бабушка с маминой стороны. Теперь Могадор называется Эс-Сувеира, но бабушка не хочет так его называть. «А картина как называется, «Люди Могадора»¹⁹ или «Люди Эс-Сувеира»?» – лукаво спрашивает она, имея в виду фильм, который так полюбился зрителям первого канала, и в особенности марокканским евреям.

Этот фильм – бабушкина улада. Благодаря ему французы открыли для себя ее родной город, удивительной красоты пейзажи, уклад жизни марокканцев. А что французы думали? Что мы бескультурная деревенщина? Конечно, кто не заметит, с каким пренебрежением французы относятся ко всему арабскому. Но одно дело арабы, а другое – марокканцы. Или, например, алжирцы. Не надо нас с ними путать. Пье-нуары²⁰ сбежали во Францию, не прихватив с собой ничего, они потерпели крушение, удрали от тех, кого считали слугами, кем помыкали. А марокканцы уехали добровольно, как достойные люди. Сам король сожалел об отъезде своих евреев. О чем это говорит? О том, что евреи жили в полном согласии с мусульманами.

Конечно, понятное дело, уехали они зря, и теперь они это понимают...

Но и среди марокканских евреев есть разные. Могадор в Марокко занимает особое место, он на первом месте среди городов. В Могадоре знают, как жить правильно. В нем живут культурные люди. Вот бабушка, например, очень много знает полезного. Так откуда же столько презрения, даже тогда, когда она говорит, что родилась в Могадоре?

Бабушка гордится своим родным городом, своим детством, своей страной. Порой мне даже казалось, что бабушкин Могадор – это совсем не тот город, это не Могадор месье и мадам Басри, родителей Мунира. При каждом удобном случае бабушка повторяет: «Мы, могадорцы...», – горестно сожалея о невозвратно ушедшем прошлом времени. Могадор, рай земной, полный красок, движения, жизни, застывший и обратившийся в соляное кладбище, когда она обернулась, чтобы посмотреть на него в последний раз. И вот она опять и опять вспоминает свой город, надеясь, что слова рано или поздно сложатся в заклинание и оно перенесет нас в ее пестрый мирок, полный пряных запахов.

Бабушка жила воспоминаниями. Настоящее для нее не существовало. Каждый день она наслаждалась возможностью вновь отправиться в свой музей с бесчисленными картинами, охотно водя по нему тех, кто соглашался ее терпеливо слушать, прихлебывая мят-

¹⁸ Общее название принявших ислам в VII веке коренных жителей Северной Африки. По религии – в основном мусульмане-сунниты.

¹⁹ На самом деле в романе описывается маленькое селение Могадор во Франции, фильм снят в 1972 году (Франция, Канада, Швейцария, ФРГ) и пользовался большим успехом во Франции.

²⁰ Пье-нуары, дословный перевод «черноногие», переселенцы в Алжир из метрополии, они носили обувь и получили прозвище, которое в дальнейшем за ними закрепилось. Франкоалжирцы гордились своим происхождением, составляли особую социальную группу, во время освободительной войны в Алжире были вынуждены бежать во Францию.

ный чай. Слушателями оказывались чаще всего ее внуки, прибежавшие к ней полакомиться восточными сладостями.

И когда мы приходили в восторг от какой-нибудь ее истории (что случалось все реже и реже, потому что запас их был ограничен), бабушка сияла, повторяя: «Удивила вас? Вот так-то. А в Могадоре все так и было». Она рассказывала, пересказывала, повторяла и повторялась. Словно боялась, что у нее не хватит времени пересказать нам все ее пятьдесят лет жизни, которые предшествовали «ошибке». По ее мнению, уехать из Марокко и найти себе прибежище в Лионе было очень большой ошибкой. Послушать ее, так нам не было никакого смысла уезжать. Там, по ее словам, мы не были «пустым местом».

Бабушкины истории были тем наследством, которое она хотела передать нам в неприкосновенности.

«За твои сто двадцать лет, бабушка!» – пожелали мы ей на ее последнем дне рождения.

«Сто двадцать лет? – переспросила она. – А зачем мне столько?»

«Чтобы быть нашим Моисеем. Жить и передавать нам свое прошлое, свою мудрость».

Дедушка предпочитал молчать. Он сидел в красном плюшевом кресле и рассеянно прислушивался к словам жены. Когда дело доходило до смешной истории, он улыбался или горестно покачивал головой, но продолжал молчать. Так он отстранял от себя шум города, чтобы слышать плеск морской волны о камень набережной.

– Дедушка!

Он не слышит.

– Дедушка!

Возвращается из страны грез ко мне.

– Что, детка?

Смотрит на меня ласково.

– А как вы жили с мусульманами там, в Марокко?

– Хорошо, детка, жили.

– Евреи дружили с мусульманами?

Похоже, мой вопрос его удивил.

– Конечно, мы были как братья.

– А с кем вы больше дружили, с марокканскими французами или с мусульманами?

– Французы не марокканцы. Они приезжали, чтобы заработать денег. А евреи и мусульмане – марокканцы. Мы все там родились.

Последние слова он произнес с улыбкой, так это было ясно и просто.

– И все-таки евреи и мусульмане – враги.

Дедушка ненадолго задумался.

– В Израиле они враги. Но там другие мусульмане. А у нас совсем другая история.

Он ищет убедительный довод, чтобы показать разницу.

– Мы друзья, мы вместе росли.

– Мама говорила, что она училась во французской школе.

Дедушка вздохнул.

– Французы построили школы для своих детей, и евреи захотели учить в них своих, чтобы... Чтобы быть в большом свете, вот зачем! И мы тоже. Как все, так и мы. Но французы нас никогда не любили. Мы им были нужны, чтобы работать с арабами.

– А почему мы тогда уехали?

Вопрос причиняет дедушке боль, я чувствую, что сыплю соль на рану. Он замолкает, думает, потом садится поглубже в кресло и начинает смотреть в окно. Я жду, но я жду напрасно. Он забыл обо мне, забыл о моем вопросе. Нет, вернее, он забыл ответ. Обычно,

когда дед уходит в страну грез, мы его не трогаем, встаем и не мешаем ему там странствовать. Но сейчас мне нужен ответ, и я не даю ему возможности уплыть к другим берегам.

– Дедушка!

Он смотрит на меня так, словно только что увидел.

– Что, малыш?

– Ты мне не ответил. Почему мы уехали из Марокко?

Он разводит руками, показывая, что сам в недоумении.

– Не знаю. Думаю, что испугались. Война в Алжире... Там убивали и французов, и евреев. Испугались, что и у нас может случиться то же. Мы уехали. Мы их обидели.

– Обидели?

– Они говорили нам: «Не бойтесь, мы не такие, как алжирцы». И это правда, они не такие. А мы не поверили и испугались. Даже король пытался нас успокоить.

– А короля вы вправду любили?

Дедушка хмурит брови, давая мне понять, как нелеп мой вопрос.

– Что значит – вправду? Это же наш король!

Он погружается в раздумье, потом возвращается и говорит, понизив голос, словно доверяя мне тайну:

– Когда его отец, Мухаммед V, умирал, мир теперь его праху, мы очень, очень боялись. Ходили слухи, что после того, как он уйдет в мир иной, завистники набросятся на евреев, будут их грабить и убивать. Мы тогда заперлись у себя в домах. История нас научила, что новые короли часто поднимаются на трон, попирая головы евреев. Но когда Мухаммед V умер, его сын, Хасан II, объявил в своей речи: «Ничего не бойтесь. Мой отец на смертном одре сказал мне: “Береги евреев нашей страны. Они наши подданные. Они наше богатство”». Мы все тогда плакали, были тронуты, что король так сказал о нас. Его слова нас утешили, нам стало стыдно, что мы усомнились в своих братьях. Но прошло несколько лет, и страх снова к нам вернулся, и мы тогда побежали. История нас ничему не учит. Даже в Торе об этом сказано. Мы народ жестоковыйный.

Я оставил дедушку странствовать в стране грез. Меня ждал Мунир. Мой исторический брат, подданный нашего короля, собрат по бегству.

4. Разлука

Рафаэль

Мы собрались переезжать. Новость обрушилась на нас с Жюльеном неожиданно, и мы расстроились.

Зато мама была очень довольна и без конца смотрела квартиры. Вечером она отчитывалась перед папой. Нас с братом мучили два вопроса: будем ли мы жить в том же квартале? Будем ли ходить в ту же школу?

Почти все еврейские семьи уже успели переехать из этого квартала в центр Виллербана. После большого притока эмигрантов-алжирцев – пье-нуаров, харки²¹, евреев из Алжира – количество ссор и стычек в квартале увеличилось. Дома переполнились жильцами, окрестные улицы и дворы почти не убирались, можно было подумать, что ты оказался в стране третьего мира, где никто не заботится о своих обитателях. И тогда все, кто мог, не колеблясь, стали переезжать. Перемещение неизбежное и постоянное. Стадное чувство у нас сильно развито, мы не смогли ему противостоять.

Поначалу евреи с мусульманами продолжали жить вместе, встречались по утрам на улице, ходили друг к другу в гости, дружили, как привыкли на родине, держались вместе, дорожа поддержкой друг друга среди чужаков. Евреи и арабы держались друг за друга, чувствуя свое родство в общем неблагополучии. Ощущение чужеродности, трудности приживания к непривычным условиям сближали их. На поверхностный взгляд, жизнь текла без особых сложностей. В домах привычно пахло пловом с пряностями, слышались смех и горланная речь. По вечерам в пятницу мужчины собирались у подъездов, желая потолковать, посмеяться, поиграть в карты. Но на деле все было не так-то просто.

Для евреев квартал Оливье-де-Серр был всего-навсего пересадочной станцией. Шлюзом. Перевалочным пунктом. Лагерем, раскинутым перед тем, как идти на приступ Франции. Они задерживались здесь на несколько месяцев, боясь упустить свой шанс встроиться в новую жизнь. Не желая застрять навсегда в гетто, в плену традиций, утратив возможность стать настоящими французами.

Мои родители никак не могли понять, почему их друзья, алжирские евреи, так ядовито говорят об арабах. Но в споры никогда не вступали. «Это их дело. У них все по-своему», – как-то сказал папа. Сами они чувствовали себя марокканцами, у них увлажнялись глаза, когда на экране или в газетах появлялся Хасан II, когда они могли поговорить с земляком, какой бы веры он ни был.

Злоба наших единоверцев алжирцев по отношению к арабам и нелюбовь к ним арабов были едкой кислотой, что подспудно текла и разъедала сердца. Алжирская война не кончилась, она все еще требовала жертв.

– Знаешь, на что это все похоже? – спросил как-то отец у своего приятеля. – На болото. Люди надеются из него выбраться, шагая по головам тех, кого винят в своей беде. Французы, недовольные поражением, топят пье-нуаров, пье-нуары – евреев и арабов. Евреи топчут алжирцев, арабы – харки. Результат? Утонут все.

– А мы тоже топим арабов? – решился я спросить.

²¹ Арабы и берберы, поступившие на службу во французскую армию.

Меня так волновала эта тема, что я нарушил непререкаемое правило, установленное отцом: никогда не вмешиваться в разговоры взрослых. Я ждал выговора, но, к моему удивлению, отец посмотрел на меня с любопытством.

– Мы? Мы марокканцы. У нас нет никаких причин злиться против мусульман нашей страны. А вот здесь нам сложнее.

– Почему сложнее?

– Здесь мы связаны с общиной, а значит, должны быть согласны с другими евреями, хотя у нас могут быть иные взгляды и представления. На протяжении долгих веков мы жили с арабами в дружбе и в конце концов стали на них похожи. По сути, евреи Марокко, Алжира и Туниса отличаются друг от друга так же, как отличаются мусульмане этих стран. Я уверен, что различий между сефардами и ашкеназами²² гораздо больше, чем между евреями и мусульманами.

Как же сложно быть евреем! Марокканским евреем. Иудеем-французом, родом из Марокко!

С кем я должен дружить? Кого любить? Кого поддерживать? Кто для меня друзья? Кто враги?

Для ребенка очень важно понять, кто он такой, познакомиться с общим для всего его клана прошлым, сжиться с укладом, узнать взгляды друзей и врагов. А что делать мне? Настоящее сближает меня с марокканцами, далекое прошлое – с евреями. А что касается уклада – религия диктует мне одни законы, обычаи – другие.

А будущее сулит еще и не такие разлады.

Мунир

– Мы скоро переезжаем, – сообщил мне Рафаэль, когда мы сидели, пытаясь отдышаться и прийти в себя после футбольного матча.

Такого я не ждал, новость здорово меня поразила, но я постарался не показывать виду.

– И вы тоже? – протянул я. – Все евреи снимаются.

– Двинем дальше. Поближе к небоскрегам.

– Как все.

Рафаэль уловил в моем голосе нотку раздражения. С отъездом евреев квартал у нас здорово изменился, атмосфера стала совсем другой. Евреи покинули Марокко и увезли с собой частичку истории страны, теперь они снова нас оставляли, Рафаэль увозил от меня частичку настоящего.

– Будешь ходить в другую школу?

– Наверное.

Я покачал головой, как делают взрослые, покоряясь фатальной неизбежности. Мне было тяжело. Я искоса взглянул на своего друга и понял, что и ему тоже не по себе. Мне стало легче и грустнее одновременно.

– Папа сказал, что евреи и арабы не могут больше жить вместе. Алжирцы к нам очень недоброжелательны.

– Но мы же не алжирцы, – отозвался я с излишней, наверное, поспешностью.

– Папа тоже так говорит, но здесь у нас не так много марокканцев.

Мы примолкли, совсем не так, как, когда не нуждаясь в словах, наслаждались нарабатанным день за днем пониманием и дружеским согласием. Теперешнее молчание угнетало нас, свидетельствуя о скованности, мешавшей обсудить множество мучительных вопросов.

²² Сефарды – группа евреев, сформировавшаяся на Пиренейском полуострове. Ашкеназы – североευропейская группа евреев.

До этой минуты мы были одно, а теперь, похоже, обнаружили, что мы разные. И наше молчание подтверждало, что мы отдаляемся друг от друга, жестоко и неотвратно.

– Я буду приходить к тебе. Будем видаться, – заговорил Рафаэль. – И ты ко мне тоже.

– Ага.

Почему бы нет? Но я знал: этого не будет.

– Когда переезжаете?

– В июле.

Впереди у нас было еще несколько месяцев, и это меня утешило.

– Ну ладно, я пошел, – сказал я.

– Уже?

– Дела, понимаешь?

– Ну да, у меня тоже.

Мы разошлись. Пошли каждый к своему дому.

– Что это с тобой? – спросила мама, глядя, как я яростно намазываю хлеб нутеллой.

– Ничего.

– Сыночек! Я тебя родила, я тебя кормила, я тебя растила. Я знаю, когда тебе хорошо и когда плохо.

Мне не хотелось с ней откровенничать. Жаловаться маме? Все же как-то стыдно. Но на сердце было так тяжело, что я не мог не ответить.

– Семья Рафаэля переезжает.

– Вот оно что. Значит, и они тоже, – вздохнула мама.

– Он сказал, что из-за алжирцев. Евреи с ними не ладят.

Мама снова вздохнула и соединила ладони в знак покорности.

– Не стоит говорить плохое про алжирцев, они такие же мусульмане, как мы, – наконец сказала она. – И большинство из них ни в чем дурном не замечены.

– Они действительно такие же, как мы?

– Мы отличаемся культурой, взглядами, но у нас одна религия.

– Что значит культура, взгляды? Папа тоже говорит, что мы разные.

Мама покачала головой, сомневаясь, имеет ли право вести со мной такие разговоры, но потом все с той же покорностью воздела руки к небу.

– Нас растили по-разному. В Марокко правит король, там есть города, школы, разные учреждения, есть артисты. Это богатая страна. Большинство алжирцев, приехавших во Францию, жили в глухих углах. У них не было короля. Они жили племенами, и у каждого был свой вождь. Они ютились в лачугах, и кое-кто ел прямо с земли, как, бывает, едят и у нас в деревне. И к тому же алжирцы вспыльчивые, задиристые.

– Но они позволили хозяйничать у себя французам. Взбунтовались и выкинули их вон.

– Да. Это так. Они воины.

– А тунисцы?

– Они немного не в себе, всегда смеются, но, в целом, ничего, симпатичные.

– Мусульмане все заодно?

Брови мамы взлетели вверх.

– Да-да, конечно.

Двойное «да» означало «нет» или, скорее, «не совсем». И тон ее говорил о том же.

– И евреи заодно.

Я высказал свое утверждение без большой уверенности, скорее как вопрос.

– Да, это так. Нам бы тоже так надо.

– Мальчишки постоянно смеются друг над другом. Даже алжирцы между собой тоже насмеваются. Из-за того что из разных мест. Кто-то из Алжира, кто-то из Константины, кто-то из деревни.

– Они еще маленькие.

– А их родители не насмеются?

– Нет. Нет.

Значит, «да».

– Мы арабы или мусульмане?

– Мы мусульмане. Но здесь все называют нас арабами. Так что выходит, что это одно и то же.

– Мне Рафаэль ближе, чем... Чем мусульмане.

– Конечно, он же из Марокко.

– Но он же еврей.

– В Марокко человек прежде всего марокканец, а потом уж кто как захочет.

– А мы тоже переедем?

– Ай-ва, сынок! Вот этого я не знаю, – отозвалась мама и хлопнула себя по бедрам, давая мне понять, что я ей уже поднадоел. – Такие вещи решает отец. Мне нравится наш квартал, но квартира тесновата. Может, и переедем. Там видно будет.

Сколько раз я уже думал, что был бы куда счастливее в Марокко. Там мне не пришлось бы ломать голову, кто я, с кем я. Был бы марокканцем, мусульманином и точка. Мне бы этого хватило.

Жизнь между тем у нас в квартале шла своим чередом. Сулила надежды. Грозила безнадёжностью. Мальчишки играли на мостовых и на пустырях в футбол, женщины рассказывали друг другу о том, как жили у себя в деревне, что стряпали, говорили о мужьях и детях, мужчины толковали о работе и скачках, открыв для себя это удовольствие. Одни, желая занять место повыше, рассказывали, как успешны они на работе, какие хорошие у них заработки, какие у семьи связи. Другие искали сердечного тепла среди соплеменников, чтобы хоть ненадолго забыть о своем неуют, об унижениях и неудобствах жизни в чужой стране. Для отцов семейства счастливое будущее детей служило оправданием их теперешнего невыгодного положения, на которое эти гордые мужчины променяли свое прошлое.

И вот они опускали глаза, сгибали спину, улыбались. Они считали нужным постараться, чтобы была забыта война в Алжире, чтобы привыкли к нашему не всем удобному присутствию, к ошибкам во французском, к акценту.

Чуть подальше в стороне у скамеек собирались будущие мужчины, они гордо поднимали голову, расправляли грудь, напрягали мускулы. Они приехали сюда работать, приехали, потому что их позвали. Они не знали за собой никакой вины. Им не в чем было раскаиваться. Прошрое, изуродовавшее старших, не имело к ним отношения. В них кипела юность. Они выбирали себе будущее, выбирали по своим возможностям. Самые отчаянные сбивались в банды. Время предоставило им такую возможность. Банда представляла собой силу. Дать понять, кто ты есть, взять под свой контроль территорию, установить свои законы и отчаянно защищать их от всех других – так понимали свое назначение эти парни. Банда с улицы Оливье-сюр-Серр сложилась именно так. Быть мужчиной – значит идти прямо, с гордо поднятой головой. Во враждебной вселенной нужно уметь драться.

Рафаэль

Переезд в «город» подразумевал существенные перемены в нашем образе жизни. Три стоящих рядом дома не только внушительно выглядели, но были снабжены всевозможными

современными удобствами: ставнями на роликах, широкими коридорами, подстриженной изгородью, удобными автостоянками.

К тому же в каждом подъезде сидел консьерж. А возле домов за оградой зеленела лужайка, стояли трое качелей, горка и песочница.

Одним словом, налицо были признаки благосостояния, которые позволяли моим родителям рассматривать наш переезд как следующий этап внедрения во французское общество. Присутствие в доме французских семей было также источником гордости для моих родителей. Мы попадали в общество «добропорядочных семей»: служащих государственных учреждений, работников магазинов. Словом, нас окружал средний класс, к которому они вскоре надеялись примкнуть. Среди жильцов были даже два полицейских, что служило в глазах папы и мамы залогом особой респектабельности.

На самом деле все было далеко не так лучезарно. Французов там было совсем немного. Остальные – такие же, как мы, иммигранты со всех концов света. И французы здесь поселились не по своей воле, а под давлением обстоятельств. Они вынужденно терпели сложившуюся ситуацию. Для оптимистов эти квартиры были временным пристанищем на пути к другим, более достойным, домам и кварталам. Для пессимистов – зримым доказательством провала. Мы об этом не подозревали.

Для детей подобных проблем не существует. «Площадка», как мы стали называть отведенную для нас территорию, отлично подходила для наших игр, футбольных матчей, встреч и общения. Здесь собиралась ребятня со всех соседних улиц.

Мы никогда не обсуждали своих родителей, не говорили, кто из них где работает. Вопрос был деликатным, на этот счет у нас была повышенная чувствительность. Зато мы говорили о верованиях и о тех странах, откуда приехали. Развеселясь, мы посмеивались над обычаями друг друга, но никогда не смеялись зло. Каждый из нас отстаивал свои обычаи, дорожил своим прошлым, историей, верой, но мы были едины в стремлении завоевать Францию, не обращая внимания на остракизм французов. Наше отношение к ним было – как бы это сказать? – неоднозначным. Если честно, то я думаю, что мы упрекали их в том, что они оказались совсем не такими, какими мы представляли их в своих фантазиях. Родители увлекли нас в поход за французскостью, словно крестоносцев за Граалем, потребовав воли, беззаветности, готовности расстаться с нажитыми привычками. Встреченные нами французы вызвали у нас сомнения: стоит ли тратить столько усилий?

Они были сосредоточены на себе, мы их совершенно не интересовали, они не понимали, что мы чувствуем и переживаем. Их внешнее спокойствие представлялось нам застылостью. Их не тревожило прошлое, не волновало будущее. Ни за прошлое, ни за будущее у них не было нужды бороться. Им не надо было собирать свою волю, утверждать себя, формировать свою судьбу. Они были просто французами у себя во Франции.

А мы испытывали к ним подозрение. Может, они дети или внуки коллаборационистов? В недавней истории французов не было ничего героического, она не казалась нам интересной. Когда мы в школьном дворе смотрели на них, они опускали глаза, затаивались. За редким исключением, они не защищались; криво усмехались, принимая насмешки, но никогда не лезли в драку. Их безропотность действовала угнетающе, а иногда бесила.

Настоящими героями в наших глазах были американцы. Веселые, энергичные, полные жажды завоеваний. Вестерны и приключенческие фильмы с Джоном Уэйном, Робертом Митчем, Чарльзом Бронсоном, Кирком Дугласом нравились нам гораздо больше французских (Годара и Трюффо). «Без конца и начала» – так говорил о них папа.

Думаю, мы посмеивались над французами еще и в пику родителям, стараясь как-то уравновесить их безоглядное стремление во что бы то ни стало ассимилироваться.

Французы были для нас «сырниками», «лягушатниками», «франами», «галлами», «белоручками». А мы были «остальной мир».

В три часа дня солнце светило прямо в окна нашей комнаты. Я прижался лбом к гладкому стеклу.

– Смотри-ка, они сейчас будут играть в воров и полицейских, – говорит Жюльен.

– Надо же! Везет им! – вздыхает наш младший Оливье.

– А мне сдается, делятся на команды, будут играть в футбол.

– Ничего подобного! – возражает Жюльен свойственным ему безапелляционным тоном. – Они только что закончили матч.

– Да, но Жозе оказался среди проигравших. Похоже, они перегруппируются и будут играть снова.

Брат что-то проворчал, но я не разобрал что.

– Везет! – повторил Оливье.

– Везет, их родители не заставляют сидеть дома после обеда.

– У них родители будь здоров, не то что наши, – заявляет Оливье с недовольным видом.

И получает от меня по макушке, а от Жюльена кулаком в бок.

Он кривится, давая понять, что сейчас заревет во весь голос.

– Ори, давай, не стесняйся, а потом объяснишь маме, за что получил.

Оливье замолкает, соображая, стоит реветь или нет, и снова плаксиво кривится.

– Еще раз скажешь такое о папе и маме, вздую, – обещает Жюльен, не глядя на младшего брата.

Оливье обиженно передергивает плечами.

Время каникулярное, вторая половина дня. Нам запрещено выходить во двор раньше пяти часов. Почему? Чтобы не умереть от обезвоживания. Так объяснил папа новое правило, прослушав по радио передачу. Он не сомневается, что журналисты говорят только правду.

Интересно, он что, забыл Марокко? Как бегал с футбольным мячом по площади Верден под палящим солнцем?

Поэтому мы и смотрим с восьмого этажа, как играют наши приятели. Иногда кто-то из нас покидает пост наблюдения и усаживается смотреть комиксы. Но остальные остаются у окна, чтобы не пропустить какого-нибудь важного события. Стычки происходят то и дело, нужно быть в курсе ситуации, чтобы, когда, быстренько поев, выбежим во двор, не терять времени, выясняя, кто с кем, а сразу примкнуть к нужной команде.

Верховодит на нашей площадке Жозе. Он самый сильный, самый голосистый, самый возбудимый. К нему прибилась несколько мальчишек, и он без малейшего стеснения называет их своими рабами. Он отдает им приказания, и они беспрекословно их выполняют. Власть Жозе беспредельна. Марио крепко досталось, когда он вздумал посмеяться над таким послушанием. Жозе на площадке распоряжается всем: решает, в какую игру играть, кто будет в ней участвовать, когда она начнется, когда закончится. Другим позволялось играть во что-то свое при условии, что они устроятся с краю и народу у них будет поменьше.

Жозе, и только Жозе, принадлежала почетная обязанность устраивать футбольный матч, который носил название «Франция против остального мира». Когда он объявлял об этом матче, радостные крики сотрясали окна во всех трех домах. Никто и никогда не осмелился бы устроить этот матч за спиной Жозе. Он его придумал, он его проводил.

Судя по радостным воплям, которые доносились до нас снизу, Жозе объявил, что будет матч. Полак, Габи, Моисей, Жеки, Жюда, Порто, Зорба еще прыгали от радости, когда мы выскочили во двор. Четыре раба Жозе с недовольными минами присоединились к Игнасу, Бертрану, Жан-Пьеру и Эдди, уже стоявшим в сторонке, твердо решив держаться до последнего и сдать как можно позже.

Услышав радостные крики, со всех сторон примчались еще ребята, просясь принять их в команду. Диктатор Жозе, хитроумный стратег, отстранял наиболее слабых игроков фран-

цузов: «Ты опоздал! Ты тоже шагай отсюда!» И они, повесив нос, удалялись, не желая прибавить к огорчению неучастия еще и унижение наказания.

Мы с Жюльеном скромненько присоединись к команде «Остальной мир» не потому, что боялись, что Жозе прогонит нас – он относился к нам с уважением и не стал бы злоупотреблять своими правами – просто нам не хотелось бегать шестерками в команде французов. Хотя евреям позволялось играть за французов – таков был вердикт Жозе. «Еврей – это религия, а не страна», – объявил он. А когда мы ему возразили, что у евреев есть страна Израиль, он отрезал: «Это еще неизвестно. В конце концов, они сдадутся, вон сколько вокруг арабов крутится». И поскольку Жозе не слышал ни о войне евреев за независимость, ни о Шестидневной войне, он разрешил нам играть за французскую команду (еще и благодаря хорошей игре Жюльена), но постоянное место отвел в команде «остальной мир».

Сегодня французов хватало, и мы заняли свои места в команде противников.

Началась игра. Жозе вел. Игроком он был замечательным. У него были такие живые, такие эффективные проходы. Но и условия тоже были соответствующие. Все игроки его команды играли на него, а все противники не решались по-настоящему его атаковать. Он добрался до «клетки» – двух скамеек, поставленных по две стороны лужайки.

Эдди защищал ворота сдержанно. Он знал, что не стоит рваться в бой, если хочешь все-таки играть в команде Франции. Жозе забил гол.

Раздался оглушительный восторженный рев. Двенадцать мальчишек ревели во всю силу своих легких, обнимая капитана. Восторг был преувеличенным, как любое проявление чувств в нашем мальчишеском мире, основой которого была стыдливость. Проявление чувств рассматривалось как слабость, и только оглушительный выплеск считался правом. Если тебя кто-то раздражал, ты не должен был показывать виду, иначе тебя сочли бы нюней и слабаком, ты должен был обозвать надоеду поглубже, а еще лучше хорошенько стукнуть. Чувства, они для девчонок, мужское дело – сила.

Мунир

Сестру называли Джамиля. «Первая француженка в семье», – сообщил папа дяде Али, вернувшись из больницы. Не знаю, что больше обрадовало папу, – что родилась дочь или что она француженка.

– Француженка, – задумчиво повторил Тарик. – Как ты думаешь, у нее светлые волосы? Если да, то и глаза должны быть голубые.

Иногда я думаю: я что, в его возрасте тоже был таким идиотом?

– Дети! Я поведу вас знакомиться с сестрой, – восторженно объявил нам отец. – Идите оденьтесь празднично.

С рождением малышки папа преобразился. Он был счастлив и не скрывал этого. И мы были благодарны незнакомой сестренке за это чудо.

Обстановка в роддоме меня поразила. Мы как будто очутились на другой планете. Все здесь улыбались, говорили ласково, ходили не спеша. Лица лучились счастьем, словно у блаженных или идиотиков. И наш папа не был исключением. Он вел нас к маминой палате и по дороге со всеми здоровался.

Когда мы вошли, мама встретила нас счастливой улыбкой. Она была очень довольна, что мы так хорошо одеты и аккуратно причесаны. И взглянула краем глаза на соседку: видит ли она, какое у нее замечательное семейство. Папа подтолкнул нас, чтобы мы поздоровались с этой соседкой, а потом подошли и поцеловали маму. Так. Мы все поняли: надо разыгрывать маленьких французов. Мы с Тариком поздоровались, поцеловали маму и, пока родители разговаривали, склонились над колыбелькой.

– Ничего она не француженка, – огорченно шепнул мне брат. – Если честно, страшенькая.

У Джамили маленький ротик с нарисованными губками и черные глаза. На голове несколько черных гладких волосиков.

– Не говори глупостей. Она красавица.

Брат с любопытством посмотрел на меня.

– Ты что, серьезно?

– Серьезно. А ты сказал глупость.

– Сказал, что думал, вот и все. Смотри, у нее кожа вся в пятнышках, и нос такой маленький, как будто просто две дырочки сделали. Вон тот куда симпатичнее.

И Тарик показал мне на младенца соседки по палате с круглым личиком и светлой кожей.

– Лучше тебе закрыть рот, чем говорить глупости, – посоветовал я ему.

Он в ответ передернул плечами и продолжал с беспокойством изучать сестру.

– Ты всегда со мной споришь, – проворчал он. – И никакая она не француженка, что нет, то нет.

Вот тут я не мог с ним не согласиться.

– И вообще, мне бы хотелось мальчика, – продолжал Тарик. – Во что, скажи, мне с ней играть?

Как-никак он был на десять лет старше, так что и с новорожденным братом ему играть было не во что.

Мама наклонилась и взяла Джамилу на руки, и было видно, что она счастлива. Она отдала долг мужу и всей своей семье, родив мальчиков, но сама она хотела иметь дочку, возиться с платьями и с куклами.

– А с кем я буду потом разговаривать? С сыновьями? Взрослым сыновьям нечего сказать матери. А кто мне поможет? С двумя сыновьями не так-то легко, все на мне одной, – призналась она соседке. И та сочувственно покивала, у нее были две взрослые дочери и трое сыновей, так что она могла себе позволить сходить к подруге выпить кофе.

Что правда, то правда, у нашей мамы ни минутки свободной. Она стряпает, ходит за покупками, стирает, убирает, чтобы дом блестел и стол был накрыт к ужину. Когда папа приходит после работы, она следит за ним, торопясь предугадать каждое его желание, ловя малейший знак одобрения. Словесные благодарности у нас не приняты, мама ловит их в едва заметных знаках. Папа садится за стол, смотрит на двух своих детей в пижамах, видит стоящие перед ним салаты, вдыхает запах из кастрюли, стоящей на огне, и улыбается.

Лицо у него добреет, и тогда он смотрит на жену. Мгновенный, едва заметный обмен взглядами, в который умещается так много. Мама расправляет плечи, поднимает голову и начинает раскладывать еду.

Я стараюсь вести себя как папа. Когда я прихожу из школы, мама смотрит на меня с такой нежностью. И мне хочется подбежать к ней, броситься ей на шею, поцеловать, сказать, как я ее люблю. Но я не могу. Я ей только улыбаюсь. Изредка целую ее в щеку. Мне кажется, что мужчина только так и может себя вести. Мама на меня не обижается, я уверен. Она меня понимает. И то, как я люблю ее, читает в моих глазах.

Тарик проявляет куда больше чувств. Он кидается маме в объятия, целует ее, смешит. Мама говорит, что он похож на ее брата Хасана. Она часто вспоминает свою семью, оставшуюся в Марокко. Дяди, тети, двоюродные братья и сестры известны нам не только по именам, но и всевозможными историями, которые с ними случались. «Самир, акробат?» «Зора, которая печет блинчики?» «Тот Морад, что рассказывает истории?» Призраки, живущие с нами. Чаще всего они появляются вместе со своей историей среди ароматных запахов кухни в день своего рождения, и глаза мамы увлажняются.

– Я нашел нам другую квартиру, – объявил всем нам папа в больнице.

Мы очень удивились.

– Значит, мы переезжаем? – уточнил Тарик.

– Да. Наша квартира теперь станет тесновата.

Мы об этом как-то не подумали. Мама с папой никогда об этом не говорили. На секунду у меня вспыхнула надежда, что мы будем жить поближе к небоскрегам, и я снова окажусь по соседству с Рафаэлем.

– Куда переезжаем?

– В Воз-ан-Велен.

Я расстроился, но не показал виду – у папы было такое счастливое лицо.

– А где это?

– Совсем недалеко. Сразу за Блошиным рынком.

На Блошиный рынок мы с папой ездили не один раз. На автобусе. Далеко. Даже очень. Куда дальше, чем до Небоскреба.

– Все мои коллеги там живут, – прибавляет папа, объясняя свое решение.

Когда он говорит «коллеги», это значит «знакомые», «приятели».

Я осторожно кошусь на Джамилю. Это из-за нее мы уедем из нашего квартала.

Вот уж точно – стоило ей появиться, и вся жизнь у нас пошла по-другому. Но в общем-то новость хорошая.

Каждый год родители обещают, что на каникулы мы поедем в Марокко, но за несколько недель до отъезда папа отменяет поездку. Мама объясняет, что мы хотели бы приехать к родне не с пустыми руками, оделить всех подарками, показать, что наш отъезд не был ошибкой. Но мне-то кажется, папе хочется попрочнее здесь прижиться, почувствовать все вокруг своим, чтобы, оказавшись на родине, среди родни, на земле, на которую капали его детские слезы, он не ощутил ностальгии, куда более острой, чем гордость чувствовать себя французом.

Рафаэль

О настоящей банде в нашем квартале речь, конечно, не шла. Для настоящей банды нужно много народу, железная дисциплина и готовность рисковать. У нас и юнцов-то было всего человек двадцать, а охотников до дисциплины и того меньше, не говоря уж об отваге, необходимой, чтобы создать в городе банду. Несколько наших по-настоящему крутых парней примкнули к банде соседнего квартала Бонтер.

Банда Бонтера! Миф и легенда! Подлинные герои для мальчишек, какими мы тогда были. Мы говорили о них с восхищением и трепетом. Говорили постоянно, но по сути мало что знали. Все, что мы обсуждали, было слухами, часто выдумками, и очень редко фактами.

И откуда нам было что-то знать? Умение держать язык за зубами – первое условие для крутых парней в банде, но для легенды хватало и нескольких откровенных слов, пары-тройки дошедших до нас историй.

Банда – братство отчаянных парней, которым перевалило за двадцать, готовых яростно защищать установленный ими кодекс чести и территорию, которую они объявили своей. У них культ физической силы и дружбы.

Чтобы стать членом их клана, необходимо пройти ритуал посвящения. О банде Бонтер рассказывали, что любой новичок, за которого проголосовало большинство, проходит испытания. Двести отжиманий с грузом двадцать килограммов на спине самое легкое из них. А самое тяжелое – выдержать пятьдесят ударов веревкой и не показать, что больно. Это нам рассказал Мигель, младший братишка Мануэля Домингеса. Его старший брат вернулся

как-то домой с окровавленной спиной. И хотя про Мигеля было известно, что он трепач, нам хотелось ему верить. Такие рассказы мы горячо обсуждали целыми днями, вырабатывая свое понимание храбрости.

Соперниками Бонтера были банды Виллербана и Бюэ. Враждуя, они мерились силами, надеясь со временем объединиться и взять под контроль весь город.

Но пока ходили слухи об их ожесточенных стычках. Враги договаривались о встрече на пустыре, замирали стенка на стенку в тяжелом угрожающем молчании, а потом по знаку главарей с воплем бросались друг на друга. В ход шли кулаки, цепи, палки. Стороны яростно добивались победы. Но даже самый яростный бой велся по правилам, которые молчаливо признавались всеми. За ними маячил общий идеал: честь. Честь была главным идеалом, и кланы на свой лад уважали друг друга. Уважали потому, что пока еще ни один не взял верх над другими. Они собирались объединиться и напасть на общего врага, лучше которого не придумаешь, – агрессивного, высокомерного, плюющего на все правила, живущего всего через несколько улиц и тем не менее совершенно на них не похожего, – на банду Оливье-де-Серр.

Молва об этой банде быстро распространилась по Виллербану, потом по Лиону, потом по близлежащим городкам. Рассказы о ней были отчасти правдивыми, отчасти выдуманными, но неизменно грешили преувеличениями. Вражда, которую питали к парням из квартала Оливье-де-Серр другие банды, зиждилась на двух обвинениях. Первое: они не соблюдали никаких правил, пользовались ножами, бритвами, не брезговали бить одиночек, нападали из-за угла, обворовывали своих жертв. Второе лежало в области непоправимого, превратившись в неутолимую ненависть: во время драки паренек из Оливье-де-Серр убил главаря Бонтер, всадив ему в спину перо. До этих пор в драках били, но не убивали, кодекс запрещал убийства и использование ножей. Банда Бонтер похоронила главаря, выбрала на его место другого и объявила беспощадную войну Оливье-де-Серр. Войну, которая повела к объединению всех других банд против Оливье.

Мы, местная мелкота от десяти до пятнадцати лет, миглом учуяли, что обстановка переменялась. Возросло напряжение, увеличилась озлобленность. Те, кому довелось жить на знаменитой улице, помалкивали об этом. Я часто вспоминал Мунира, который продолжал там жить. Неужели он знаком с этими монстрами? Неужели эти бандиты – старшие братья пареньков, с которыми мы учились в школе? А сам он как к ним относится? Неужели восхищается?

Я так и не навестил ни разу наш бывший квартал. Но я вспоминал Мунира, вспоминал нашу с ним дружбу. Мне его не хватало, но я не мог собраться и отправиться к нему. А что, если он изменился? Что, если стал драчуном и забиякой? Говорили, что тамошние ребята не пускают на свою территорию чужих, бьют их и обчищают карманы. Но в это я, конечно, не верил. А рассказов ходило много. Говорили даже, что один француз вернулся оттуда раздетым до трусов. Я не боялся идти туда, мне бы ничего не сделали, у меня там было много знакомых, они не дали бы меня в обиду. Но мне казалось, что, отправившись на ту территорию, я совершу предательство по отношению к этой.

Мунир

Меня слегка колотило и подташнивало, тело вышло из-под контроля. Мне даже показалось, что волосы у меня на голове шевелятся и в мозгу пробегают электрические искры. Мне очень хотелось развернуться и убежать.

Но как я мог отпраздновать труса? Опозориться? Такого мне не забудут никогда, и всегда будут надо мной смеяться. Нет. Назад хода нет.

– Говорю же вам, пройти проще некуда. Я сто раз уже так ходил. А как вы думаете, я смотрел все фильмы про кунг-фу? Сегодня же Брюс Ли, парни! – убеждал нас Моктар. – Он же король! Король кунг-фу! Как вы можете упустить такое!

И я повелся. Я не думал, что мне будет так страшно, что у меня поджилки затрясутся. Я думал совсем о другом: что сижу в зале и смотрю фильм, тот самый, о котором Моктар прожужжал нам все уши.

Тарик стоял тут же, рядом со мной. Как я мог потащить с собой брата в эту глупую авантюру?! Я представил себе, что будет, если нас сейчас обнаружат. Подумал о папе и маме. Как им будет стыдно и как они будут меня ругать за Тарика. Я же за него отвечаю. Папа постоянно мне напоминает: «Старший брат – это второй отец!»

Я взглянул на братишку. Тот стоял, прислонившись к стене, и мне захотелось попросить у него прощения. Сказать, чтобы шел домой, пока не поздно. Да, захотелось схватить его за руку и убежать. Какая мне разница, будут они смеяться или не будут! А Тарик? Что он скажет? Я больше не буду для него героем, образцом для подражания. Мы встретились глазами, ему было спокойно. Он доверял мне на все сто. Должно быть, считал, что рядом со мной, старшим братом, разумным и ответственным, совершенно безопасно.

– Внимание! Я слышу, они сейчас начнут выходить. Крим, ты придержишь дверь, когда выйдет последний.

– А почему я? – прошептал Крим, но не получил ответа.

Двери распахнулись, и зрители стали не спеша выходить из зала. Их было совсем немного. Человек двадцать юнцов с дурацкими улыбками. Кое-кто из них пытался подражать приемам кунг-фу, со смехом издавая кошачьи вопли.

– А там зайцы стоят, – сказал один парень приятелям, показав на нас.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.